

ДАРЬЯЛ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

5'2025



9 770868 644005



ТЕМА НОМЕРА:
ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ



ДАРЬЯЛ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

* * *

WWW.DARIAL-ONLINE.RU



ВЛАДИКАВКАЗ
2025



ДАРЬЯЛ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

* * *
ВЫХОДИТ С 1991 ГОДА

16+

Главный редактор

А. И. ЦХУРБАЕВ

Зам. главного редактора

О. Э. ТОТРОВА

Редакционный совет:

И. Г. ГУРЖИБЕКОВА

М. С. ДЗАСОХОВ

В. О. КОЛИЕВ

Т. А. САЛАМОВ

И. А. ТАБОЛОВА

Ф. С. ХАБАЛОВА

Б. Р. ХОЗИЕВ

А. Л. ЧИБИРОВ

В. Т. ЧШИЕВ

Адрес редакции:

362040, г. Владикавказ, ул. Маркуса, 1

Телефоны: (8672) 53-60-30

(8672) 53-58-10

(8672) 54-38-04

e-mail: darial@darial-online.ru

http: www.darial-online.ru

Свидетельство

о регистрации средства массовой
информации

ПИ №ТУ 15-00144 от 22.05.2017

Выдано Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Республике Северная Осетия-Алания

Учредитель и издатель:

Комитет по делам печати и массовых
коммуникаций Республики Северная
Осетия-Алания

Адрес: 362040, Республика
Северная Осетия-Алания,
г. Владикавказ, ул. Димитрова, 2, офис 202
Телефон: (8672) 33-33-69

Рукописи не возвращаются
и не рецензируются

Мнение редакции не всегда
совпадает с мнением авторов

Выход в свет 31.10.2025
Формат бумаги 60 x 90^{1/16}
Бум. офсетная
Гарнитура шрифта MyriadPro
Печать офсетная
Усл. п. л. 15 + 1 п. л. цветная вклейка
на мелованной бумаге
Заказ № 423
Тираж 600 экземпляров

АО «Осетия-Полиграфсервис»
362015, г. Владикавказ,
проспект Коста, 11
Телефон: (8672) 25-97-94

Цена свободная

5'2025 (190)

СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ

СОДЕРЖАНИЕ

© ДАРЬЯЛ № 5'2025

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ	
4	Хетаг БИГАЕВ О несказанном. Стихи
12	Хосе Четыре недели, в которые Хосе не одинок. Рассказ
28	Сармат КАДИЕВ Автопортрет. Стихи
34	Дина САПЕГИНА Ящер. Рассказ
46	Залина ДОГУЗОВА Я — обретшая бодхи. Стихи
50	Азамат КАРГИНОВ Серое скольжение. Рассказы
58	Алена МЯКИНИНА Привыкай отпускать. Стихи
64	Астан ТАМАЕВ Тайна в Сакире. Рассказ
96	Индира ЗУБАИРОВА При тающей луне. Стихи
100	Денис ДЫМЧЕНКО Доверие. Рассказ
116	Саша АГУЗАРОВА Кто и откуда я. Стихи
120	Зарема СТАШ Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы. Рассказ
АНТОЛОГИЯ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ	
129	Елена КОВАЛЕНКО «Осень выкрасила леса...»
ПРОЗА И ПОЭЗИЯ-2	
130	Адам САЛАХАНОВ На сон грядущий. Рассказ
138	Аида БАБАЕВА Сны о Флоренции. Стихи
144	Дарья БЛАГОВА Их земля. Рассказы
160	Алан МУСАЕВ Переспелые гроздья. Стихи
166	Ибрагим ХАИДОВ Ландыши. Рассказ
180	Магомедрасул МУСАЕВ Москва — Итака. Стихи
186	Арсен САХРУЕВ Вкус жизни. Рассказы
194	Мария МУССОВА Послеоперационный роман. Рассказ
ПЕРЕВОДЫ	
214	Страсть к созерцанию. Стихи. Перевод П. Визировой
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И КРИТИКА	
220	Хетаг БИГАЕВ Эпитафия любви. Эссе
228	Рецензии студентов СОГУ на книги
238	АВТОРЫ НОМЕРА

ЦВЕТНАЯ ВКЛЕЙКА
Выставка молодых художников
в кафе-галерее «Парадная»
Живопись

Хетаг БИГАЕВ

О НЕСКАЗАННОМ

СТИХИ



ФИЛФАК

*

На угрюмой планете
Станислава Лема,
где империя — знак,
а владыка — лексема,
где охотится морф,
а спасает морфема,
я увидел филфак.

* *

Вдоль глухих коридоров
с читающей крышей,
вдоль окон и заборов,
слагающих вирши,
растянулись плеяды
уснувших студентов,
день клонился к расцвету,
а в кафедре где-то
о(б)живали страницы
забытые боги,
многоопытный муж
пил вино.
В диалоге
сокровенном Платон
осуждал Герострата,
Каин искренне рад был
величию брата,
а Петрарка с Лаурой
в углу ворковали,
приподняв вдохновением
кончик вуали.

Это стало эпохой
творца изобилия —
время слов и картин,
непокрытых зеркал.
Впрочем, чувство,
которое дома забыл я,
лишь в родном
факультете
я отыскал.

* * *

Я вернулся тогда
на угрюмую землю,
где в империи (м)рак,
а владыке не внемлю,
где провинция к морю,
как дерево к стеблю.
Я покинул филфак.

* * *

ACу Пушкину (19 октября)

Оставьте его
в покое!
Покой
украшает лица.
Творца
укрощает поле
дыханием травы.
Цевница
не стала пустой свирелью,
увязнув
под сапогами,
а в рабстве свободы
трелью
звенит на земле
стихами.
Сенатская колесница,

Дантес,
Николай и свита,
покой ведь нам только снится, —
все было, и все забыто.
Но вот парадокс Тесея:
под музыку «Мураками»
я вспомнил о дне лицея
и слезы закрыл руками.

* * *

I

Я вечно возвращаюсь
в один и тот же сон.
Больница.
Стук трамвая.
Ребенок у крыльца
в последний раз играет
с останками отца.

II

Я вечно возвращаюсь
в один и тот же сон.
На кладбище сырья
могильная земля
к ладоням прилипает,
сгнивает плоть моя.

III

Я вечно возвращаюсь
в один и тот же сон.
Дом пуст,
хоть и смеются
повсюду дикари,
но мальчик не забыл
клочок сырой земли.

IV

Я вечно возвращаюсь
в один и тот же сон.

Сто лет минуло,
снова
ребенок у крыльца
в слезах бросает мячик
в большую грудь отца.

КТО ТАКОЙ ВЕРЛИБР?

Чайник визжит
первобытностью страха.
Я не позволю ему сгореть.
Горные люди
в нагорной проповеди,
ведунья в парандже отрицания,
плакальщицы лицемерно
целуют распятие.
Неужели миру так нестерпимо
молчание?
Минута молчания.
Silentium!
Новая смерть
фиксирует мысль,
что я существую.
Ладонью касаюсь —
нет, испугался —
смердящего трупа.
Ладан разносит
последние ноты усопшего.
Знак угасания —
это прощальные крики,
зычно текущие
по направлению к С(а)вану.
Нам не низвергнуть и
не вернуть
утраченного —
ни иллюзий, ни времени, ни покоя!
— Можно глоток? — узнают из могилы
кости вчерашнего друга.
Пачку открыв, достаю сигарету.
Нечем запить.
Пересохло во рту.
Я утром воскресну.

* * *

В тусклом небесном море
Ярко тонули звезды.
Тьма состоит из горя.
Я на балконе мерзну,
Вовсе не понимая
смысла дневного света.
Нет никакого рая.
Бог — это для
поэта.

О. МАНДЕЛЬШТАМУ

Ранний вечер
в городе
нашей памяти,
Юность вешняя
нежно
покрыта золой,
Слово-истина
смело
стоит у паперти,
осуждая
и грудь наполня
тоской.

Нет ни страха,
ни трепета,
нет ожидания —
гром молчания страшен.
Как будто
некто чужой
окружает тебя
на задворках
хромого
сознания.
Я смеюсь —
так забавно прощаться
с собой!
Знаю точно —
вне времени наше призвание.

Камень вечен.
Стекает строфа за строфой.

Ведь никто не погибнет,
никто не познает
изгнания,
если мертвый поэт
становится
целой страной.

ИНЦИДЕНТ БЕСПЕЧЕН

Столько слов потонуло в звуке,
Застревая в гортанный муке;
Тишиною укрыто небо:
Был ли я?
Или все же не был?

Сын уснул.
На бумаге давка.
И исперчены все страницы.
Да, не вышел из папы Кафка!
Ну и что теперь?
Застрелиться?

Выстрел в сердце.
Звонок кумира, —
иль на том,
иль на этом свете:
«Эх, рабочий,
а как же мир,
подписанный
в Ленсовете?»

Стыдно.
Взнуздана лира новью,
загнана
в словостойло.
Сын смеется сквозь сон
любовью, —
Это пулю в груди
 успокоило.

О НЕСКАЗАННОМ

В кончиках пальцев
забыться
можно?
В оттиск дыхания
зарыть
усталость?
Озёра трапеций
с лазурной
кожей
Губами проплыть,
чтобы
не осталось
Ни неба
с его
пестрогулкой
гладью,
Ни жалких людей,
или просто
трупов,
играющих жизнью
в беззубой
пасты,
воздвигнувших сызнова
город
Глупов.
И только в тебе
пресловутый
смысл
Находит защиту
от звуков
ада,
И только с тобой
зародилась
мысль,
Что кроме тебя
ничего
не надо.



ХОСЕ

ЧЕТЫРЕ НЕДЕЛИ,
В КОТОРЫЕ ХОСЕ
НЕ ОДИНOK

РАССКАЗ



*Душа у меня действительно была
расстегнута, как ширинка.*

Л.-Ф. Селин.
Путешествие на край ночи

Светлое каре и отросшее, но по статусу все еще ноль-три, — две головы друг против друга. Каре — результат ее двухнедельного пребывания в Питере. Будь на ее месте другая, я бы не простил такой банальности, низверг бы до уровня потенциальной мефедронщицы, впитавшей все поверхностное из Северной столицы. Или хуже того — откровенной позерши, которая к этому самому мефу побоится прикасаться, остановившись на внешней неформальности. В общем, она и была отчасти такой. Не держала в руках большей дряни, чем фото Набокова в шортиках в его доме-музее, и не собиралась; с искренним интересом следила за жизнью голливудских звезд, которые мне представляются жутковатой (оттого что хорошо выглядят) мертвчиной. Но я испытывал странное, почти забытое чувство, прощаясь с ней перед тем, как она сядет в такси. Теперь уже я скатился до банальности желания увидеть ее снова.

— Напиши, как доедешь, — сказал я, когда она садилась в Яндекс. Некая Айлин улыбнулась и по-детски помахала рукой.

То было второе свидание. После него не наступило привычного облегчения — когда, например, вернувшись уставшим домой, сидишь на диване с наполовину спущенными джинсами и сма��уешь этот момент маленького разгильдяйства. Как правило, уходя от девушки после свидания, я испытываю чувство выполненного долга. Следил за осанкой, походняк был уверенный, плечо не отвел от того бычка с поломанными ушами, никак не выдал, что считаю ее суждения самыми бессмысленными и прописными из всех услышанных за последние две недели. Я в фокусе на протяжении дня, выдавал остроумные реплики и сам получал от этого удовольствие, поскольку имею склонность к пижонству. Но любому актеру нужно бывает посидеть в гримерке после выступления с размазанным гримом. Тут, как оказалось, не нужно. Снобская часть меня насмехалась над ужасным фактом — мне было действительно интересно, что она говорит, мне нравилась ее детская наивность и шоппер с Достоевским.

В начале знакомства я видел себя Младичем, осаждающим Сараево. Тогда я искал, за что зацепиться в ее инстаграме¹, чтобы не

¹ Facebook/Instagram — проект Meta Platforms Inc., деятельность которой в России запрещена.

начинать диалог с «привет». Она выложила в историю отрывок из «Карты, деньги, два ствола», и я похвалил ее за любовь к брутальному кино. «Держим строй, иначе нас поработят любители турецких сериалов» — какую-то подобную ересь написал я в тот раз. Осада продолжалась, она игнорировала некоторые мои сообщения, отвечала спустя дни. Однажды я даже хотел отправить ей цветы с нецензурным требованием ответить, но благо не было денег, а ответила она мне до того, как пришла зарплата.

И все-таки Айлин-боснийка поддалась. Согласилась пойти со мной в кино на «Битлджус, Битлджус» после того, как я подкрепил приглашение отрывком из «Свадьбы с приданым»:

*Для такого объясненья
Я стучался к вам в окно —
Пригласить на воскресенье
В девять сорок пять в кино...*

После такой отваги и слабоумия шансов у нее не осталось. Есть контакт. «Мы здесь, 11 июля 1995 года в сербской Сребренице...» — звучало у меня в голове. Забавно, что после второго свидания осталось не только приятное умиротворение, но и снимок автографа другого известного уроженца Сараево — Кустурицы, оставленного им когда-то на стене кафе, в котором мы с ней ужинали. Вот уж действительно магия.

«Рю дё Таболов, тру» — так я произносил про себя ее адрес, преисполнившись после очередного частного урока французского. Шел по лужам от СОГУ до Рю дё Куйбышев, а затем до Авеню дё Пэ в кедах с порванными подошвами. Нещадно промокшие ноги и нетипично широкий шаг от бедра, как бы назло непогоде, и, конечно, Рю дё Таболов, тру. Что же еще? Заветный адрес нелюбимой мною сторонки. Весь остальной город — это то, где я тру шкуру, сопротивляюсь притяжению, а на Рю дё Таболов я стремлюсь. Ишу предлоги и благодарю за серость небо, стройку, что в самом разгаре неподалеку, и асфальт, потому что их блеклая фактура служит отличным фоном ярко-красному свитеру Айлин. Он предстал передо мной, когда я уехал с «Победита» от друга, с которым перед этим мы пытались не вылететь с магистратуры юридического факультета. Мы решили свои вопросы в институте и ждали его брата около проходной завода.

— Марат через сколько выйдет? — спросил я.

— Маха, минут через сорок.

— Ща я отъеду, мне сестре документы отдать надо. Заберете меня — я тут недалеко буду, на Тельмана.

— Давай я завезу тебя, фуцын.

— Оставь, вдруг он раньше выйдет.

Я твердо стою на наивном пацанячье императиве. Не дай другим повода думать, что ты ПЗР — разве может здравый тип взять две тысячи микрозаймом и в нетерпении купить понравившейся девушки конфеты? Может, конечно, но это не значит, что данный факт не станет предметом шуток в кругу друзей на следующие пару лет. Это старинный адат Владикавказа-уличного. Со дня его основания пылкие юноши в косматых папахах, затем в широкополых шляпах, а после — в адидасовских кепках втихаря делали подарки девушкам и смеялись над теми, кто недостаточно ловко избегал лишнего внимания. Но и те, в свою очередь, не обижались. Это игра своего рода — сегодня ты, завтра тебя.

Она простила. Раньше я воспринимал женские сопли как необходимость сделать внимание, а сейчас — как возможность. Никакой я больше не Младич, никакой больше осады. Было понятно, что мы нравились друг другу, и я всерьез усомнился в жизненном правиле «эксплуатируй себя как собаку». Хотелось расслабиться, быть с ней, слушать факты из биографии Мэтью Макконахи, ставить по три реакции на посты в ее телеграме и ходить в хипстерские кофейни. А еще недавно я грезил другим идеалом. Писал о Мисиме в колонку #ЛепетитХосе и мечтал о взятой спьяну республике красоты с Конституцией, написанной стихами. Моя страсть к трагическому величию превратилась в смятую в кармане куртке листовку, зовущую на службу по контракту.

— Хосе-е... — произнесла Айлин, протягивая звук «э» моего давнишнего прозвища.

— Здравствуй, — поприветствовал ее Хосе-е, вкладывая в руки целлофановый пакет с киндерами, милкивэями и другими благами параллельного импорта.

— Это все мне?

— Ну да, от болезней лучше всего помогает шоколад, это панacea. Некая.

— Некая, точно, — она обняла меня. — Спасибо.

— Не за что. Как самочувствие?

— Неплохо, но я уже второй день не была в центре...

— Ломает? — поинтересовался я, улыбаясь.

— Да-а, я же живу на проспекте!

Профотклонение на фоне изучения французского и романтизации происходящего вылилось в то, что значение слова «проспект» дошло до меня секунды через две, потеснив начавшее въедаться Авеню дё Пэ. На проспект мы, шестнадцатилетние, ездили с пацанами на трамвае, где стояли на углу Куйбышева, рядом с церковной

лавкой и готовой выпечкой с пирожками по семь рублей, изредка заходили в какие-то кафе, неловко и застенчиво закрывали счет, а потом шли обратно. Скучно, но важным было само причастие к этому миру трехзначных сумм, центра, где для нас сошелся клином свет, и плохого осетинского сервиса. Проспект меняется. К примеру, для Акаи он стал панорамой, которая предстает глазу с балкона старого здания из имперского кирпича, где у его друзей появилась очень пафосная, творческая блатхата. Для Кати-Братика он скзался до потока лиц в окошке кофе-трака, до нелепого флирта, которым каждый сельпоган считает своим долгом поистязывать баристу.

Я же видел в нем то самое, буквами начертанное на карте Парижа, Авеню дё Пэ. Кому-то посчастливилось по своей воле приносить в дар целые города. А я, испытывая восторг и зависть, дарил себе частички других городов, наделяя их чертами собственными. «Мы здесь, 11 июля 1995 года в сербской Сребренице...»

Я люблю пошло позаигрывать с фантазией. Но в свое оправдание скажу, что давно уже не становлюсь Алисой, не теряю связь с реальностью. Особенно хорошо это заметно рядом с Айлин. Черно-сине-серый, я гулял с ней по Малине, мы перекидывались остротами в адрес малых родин друг друга. И в моем случае это было органично — топить за Бам, изъясняться словами вроде «один кон» или «того рот», ставить некруглые суммы на футбольные команды, о которых я впервые слышу, и надеяться на слепую удачу. Я вернулся сюда в шестнадцать, но быстро растаможился, и с тех пор Владикавказ безо всех этих «дё Пэ» плотно сидел под кожей, не позволяя надолго уйти в Зазеркалье.

Меж тем она, неся в руках прозрачный пакет, набитый сладостями, в ярко-красном свитере посреди пасмурного Промышленного брела где-то далеко отсюда, словно и не касалась побитого асфальта. Не могла она когда-то учиться в местных гимназиях, то в одной, то в другой, не могла территориально находиться где-нибудь в Ардоне, даже проездом. В этих гимназиях учатся чернобровые ребята, а в Ардоне живут сельские задиры, моросящие на самомойках с кадгаронскими. Какая еще Айлин? Рассказывая о подобных фактах из жизни, она создавала абсолютно нереалистичную картину мира — еще хуже, чем я своими картавыми фантазиями.

Даже мутноватый Жан-парфюмер больше вписывался в нашу действительность. Возможно, из-за того, что при беглом осмотре он внешне походил на кудара, а не на эльзасского француза. Его фамилия была какой-то немецкой, заканчивалась на «васт» или вроде того. Что неудивительно, учитывая историю Эльзаса, но эти южные, или даже восточные, черты лица с легендой не взялись. Нас познакомила Айлин, которой он упал на хвост где-то в центре,

попросив рассказать ему об интересных местах Владикавказа. Она указала ему какой-то ресторан и направилась с подругой к «Александровскому», около которого мы договорились встретиться.

— Хосе-е Аркадио, здравствуйте! Извините, что задержались — мы помогали туристу Жану. Кстати, это Зарина, моя подруга.

— Очень приятно, — я взглянул на подругу и снова на Айлин. — Стоп, что за Жан? Какой-то шоколадный студент?

— Нет, просто турист. Он работает в парфюмерной компании в Москве, а вообще он из Франции. Жан... какой-то там, забыла фамилию.

— У тебя впечатляющая способность впадать в странные тяги.

— Да-а, некий сюр. Хочешь, познакомлю? Как раз поговорите с ним на своем.

— А где он вообще?

— В ресторане. Он спросил, куда здесь можно сходить, и я ему подсказала.

— И кинула его?

— Ну да, не буду же я его водить по городу. Но мы номерами обменялись, так что можем его позвать.

Меня взбесило, что она так легко познакомилась на улице с каким-то Жаном-туристом, Жаном-парфюмером. Она не понимает, что я хотел бы от нее другой реакции на просьбу прохожего подсказать, куда сходить. Не понимает. Она просто с интересом относится к людям. Нет в ней холодного недоверия, да и неуместной кокетливости тоже — это очаровывает и раздражает одновременно. Люди для нее как забавные события, как подледные истории Свята Павлова о городских сумасшедших, только добнее. Я захотел посмотреть на туриста и не показаться душным, поэтому заранее согласился.

Времени до конца обеденного перерыва полтора часа, за это время мы успели посидеть в кофейне, разглядывая винтажный интерьер и старые фотографии города в стилизованных фотоальбомах, а после встретились с гостем республики. Айлин сломала торшер, за который у меня не было денег расплатиться, но, к счастью, хозяин не потребовал. И пока мы находились там — Айлин рядом со мной, а ее подруга напротив, — я незаметно для себя промариновался в их непосредственности. Меня почти перестали злить три смайлика в виде флага Франции, круассана и пуделя после имени «Жан» в списке ее контактов. Я участливо интересовался у Зарина, чем она занимается, был крайне вежлив, шутил и не матерился. День отпечатался в памяти желто-голубым, в цвет волос и глаз Айлин, в цвет флага Республики Босния и Герцеговина. «Мы здесь, 11 июля 1995...»

Жан оказался абсолютно непримечательным. Ни жгучим кудрявым брюнетом с сигаретой марки «Житан», ни парижским гомо-дени в шарфике он не был. Не обладал даже сухой расово-приемлемой внешностью с методичек гестапо. Не попал ни в один мой стереотип о европейцах, чудак. Вместо всех этих персонажей на берегу пруда в Парке культуры и отдыха имени Коста Хетагурова стоял сутулый парень ростом чуть выше среднего, в легком пуховике, который, казалось, купил два дня назад на «Глобусе». Такое же впечатление производили его кроссовки. Я не помешан на одежде и уж тем более на ее стоимости, вопрос, скорее, к отсутствию вкуса. На прошлой своей работе, в монтировочном цеху Осетинского театра, в старых протертых спортивках я и то выглядел лучше.

— Бонжур, — сказал я максимально клюквенно, хоть и умею ловко грассировать, будто Азnavур.

— Бонжур, — взглянул на меня Жан с интересом и несколько растерянно. — Жан, аншанте...

— Жорж. Ком Жорж Дюруа. Бель ами.

— О-о, — тут он затараторил, подумав, что я действительно владею французским, но мои пять или шесть уроков пока что не особо сказывались на уровне коммуникации.

— Так, пардон, ан russ силь те пле. — Айлин успела рассказать, что он говорит на великом и могучем. — Какими судьбами к нам, мэ?

— Мэ, окэ, — Жан улыбнулся. — Я живу и работаю в Москве, мне очень нравится Кавказ, поэтому решил приехать, увидеть все своими глазами.

— Очень рад слышать. Аланы и галлы — братья навек. А по-русски где научился разговаривать?

— О, я учился в МГИМО и изучал русский язык здесь.

— Там.

— А? Уи, изучал там.

— Круто-круто. Слушайте, — обратился я ко всем разом, — мне на работу нужно, так что давайте в сторону остановки двинем.

И тут меня посетила мысль.

— Жан, фреро, а ты чем, говоришь, занимаешься?

— Работаю в парфюмерной компании...

— А не хочешь на телевидение к нам? Я контент-редактором работаю. Иностранец-парфюмер, влюбленный в Кавказ. Отличный сюжет, у нас любят такое.

— А что, это в телевизоре, в прямом эфире?

— Это мы уточним. Может, в записи будет. Поговорю с начальницей тематического отдела. Ты не против?

— Ну можно... — Он сказал это крайне неуверенно, словно его загнали в угол.

— Только ты смотри, надо очень сильно расхвалить Осетию, а то ты не получишь от правительства мерседес. Даже гранту не дадут — мы народ мнительный, любим лесть от экзотических персонажей, — я начал немного издеваться над бедным Жаном.

— Мне больше нравится... э... приора, — вспомнил он с облегчением.

— О-о, вот это наш тип. Ты, смотрю, шаришь, да?

— Да, Кавказ, приоры. Все знают.

— Ома не теряйся тогда, надо будет еще котлы помыть.

— А?

Эта его реакция еще не раз повторится по пути до ЦУМа.

Мы успели обсудить с ним его родной Эльзас, сочетание германской и французской культур в этом регионе, де Голля и «Отверженных» с его тезкой в главной роли. Он удивился моим познаниям, хотя они, по правде говоря, довольно поверхностны. Жан заявил, что чужестранец знает о Франции больше, чем сами французы — по крайней мере, молодежь. Скорее всего, воук-культура и попса действительно разъели национальное самосознание у их подрастающих поколений. Я представил себе парижского зумера, который проходит мимо Пантеона в наушниках и внимает рэперу-котдиварапу, промышляющему наркоторговлей где-нибудь в десятом арондисмане. «Великим людям — благодарное Отечество» — выбито на фасаде Пантеона, и зумер проходит сквозь эти слова, не замечая.

А возможно, Жан буквально воспринял мой совет по поводу лести осетинам.

На Чугунном мосту я ощущал усталость. По большей части диалог вел я, а остальные шли в кильватере. Бурлил Терек, и его шум стал предлогом, под которым мне не было неудобно замолчать. А скоро и остановка. Во мне проснулся карьерист, который изо всех сил хочет проявить себя в работе. Я уже продумывал карьеру продюсера, прикидывал, кого из интересных личностей можно попытаться уболтать на эфир. В такие моменты мне нравилось гулять в одиночестве. Обзаведусь знакомствами, навяжу себя миру. Пятидесятая.

— Так, я уехал. Жан, на связи, короче. О рэвуар, мэз ами, — маxнул я всем троим и влез в пятидесятистекляшку.

— Бон журне! — ответил Жан и остался позади.

Мы с ним обменялись номерами, и первое, что я сделал, приехав в офис, пробил его в Гетконтакт. «Лена» — один доступный тег, остальные скрыты. Жан-парфюмер. Немного опасаясь этой магии имен и власти фантазий, я набрал Айлин. Хотелось сказать ей, чтобы она скинула его с хвоста, не уходила с людных мест, но она не поднимала. Я разозлился и, что забавно, не забил тревогу, а сразу

позвонил начальнице тематического отдела, дал ей расклад по персонажу. «Он согласен вроде, поэтому, если понадобится, могу его позвать. До понедельника здесь, говорит». Она пообещала спрашивать у ведущих, можно ли его куда-нибудь всунуть.

— Да по-любому возьмут, — сказала Зоя, наш близкий друг из новостного отдела. — У нас в республике ничего не происходит, а тут какой-то французский парфюмер.

— Да ханыга он. Наверное, таблички в эксле заполняет или на шлагбауме сидит. Зато в парфюмерной фирме. Да хрен с ним, я же контент-редактор, пробую вкинуть контент.

— Вот и подкинул. Смотри, скоро продюсером станешь.

— Ай йæ хицау! Ёңæг легендæ. [Черт побери! Прям легенда.]²

— Кæм æй ссарадтай, вообще? [Где ты его нашел, вообще?]

— Типша познакомила.

— Какая еще?

— Та самая, которой ты мне ранункулюсы советовала отправить с матерной запиской.

— Это я тебя отговорила эту записку писать, ненормальный!

— Это меня зарплата задержавшаяся отговорила.

— Кæс-ма йæм! [Надо же!]

Айлин отозвонилась минут через сорок и сказала, что все в порядке. Погуляли втроем по отремонтированной Водной, там они его и оставили. Айлин попросила прощения за неожиданных гостей. Я не подал виду, но обрадовался, что она все-таки понимает, кого из них я хотел видеть. Вот они, слева направо.

Зоя оказалась права, и Жана действительно утвердили гостем в прямой эфир, в блок про «дикий туризм». Он подготовился и явился в футболке с осетинским флагом, запыханный и взъявленный. Ожидая очереди у студии, он пил что-то из своего шейкера и запивал водой из кулера. Как бы невзначай гость указал на свои кроссовки и спросил: «Ничего, что в таких?» Я посмотрел на его запыленные выцветшие найки, и мне стало его немного жаль.

— У меня были только такие... туфли.

— Нормально, не переживай. У нас же вроде как про дикий туризм. И вообще, это дрилл-стиль — вы, французы, должны в этом разбираться.

— Дрилл? Кес ке лё дрилл?

— Ну, это жанр в рэпе — про убийства и все такое, — я включил ему на телефоне клип Фриз Корлеоне, и одетый в черное сенегалец в балаклаве осыпал нас угрозами, размахивая пистолетом с удлиненным магазином. — Флекс этранже, короче.

² Здесь и далее в квадратных скобках перевод с осетинского. (Прим. ред.)

— О, понял. Гэнгста.

— Уи, се са. Так что нормальные у тебя кони, бандитские. Смотри, не застрели там никого, — сказал я ободряюще, и Жан перестал стыдливо поджимать ноги.

Ничего особенно выдающегося в этом эфире не было. Он рассказал, что хочет научиться танцевать лезгинку, похвалил местную кухню, а затем посоревновался с ведущей в осетинской и французской фонетике. Как по мне, осетинский Жана оказался лучше, чем французский Карины. Меня потом поблагодарили за, как они выразились, лучший блок, и я с чувством выполненного долга вызвал Жану такси подешевле. Кажется, он хотел, чтобы я сам заплатил, но последние две тысячи я оставил на такси до Рю дё Таболов, оверпрайс-кофе и Айлин — тем вечером мы должны были встретиться.

Я вышел с работы без двадцати десять и, дойдя до мечети, застал ее сидящей на скамейке с подобранными под себя ногами и простил ей это из-за симпатичного узора, который образовали складки ее виниловых штанов. Меня не волнует чистота лавочек, меня волнует лишь то, станут ли ваши поза и узор изящнее.

— Прошу прощения за опоздание, — произнес я, стоя напротив.

— Добрый вечер! Ничего, ты перенял эстафету — в прошлый раз я опоздала.

— Пройдемся?

— Да, было бы славно.

Мы гуляли по пустеющим парку и набережной, пили имбирный чай и разговаривали.

— Так это же ваши Первую мировую начали. Гаврило Принцип в «Млада Босна» состоял — твои земляки.

— Да-да, во всем мы виноваты! Кстати, сын моего папы тоже Гаврило, а в инсте записан Гаврило Принцип.

Айлин волею судеб оказалась в Осетии, росла без отца, вела блог о кино на семьдесят тысяч подписчиков и искала себя то в танцах, то в музыке, то в актерстве. Но главная ее слабость — актерство. Не имея решимости отаться этому целиком, она прерывисто посещала курсы, забрасывала их и причастилась этого искусства как могла через блог в инстаграме³. Самостоятельно выучив английский, не вложив ни рубля в раскрутку, ей удалось добиться на этом поприще хороших результатов. Я тоже одно время вел телеграм-канал о кино, но рассматривал это исключительно как развлечение и к тому времени уже давно забросил. Мои порывы редко уходили за пределы слова, и еще со временем сериала «Блудливая Калифорния» я знал, что буду писать. Длительные поиски себя — а Айлин искала

³ Facebook/Instagram — проект Meta Platforms Inc., деятельность которой в России запрещена.

себя, бросила институт и не работала — казались мне капризом бедного человека, прерогативой материально обеспеченных либо отговоркой трусов. Себя я относил к третьей категории, так как до двадцати двух я был занят учебой и изредка выходил на разные шабашки, потом безуспешно пытался запустить студию звукозаписи, а потом неудачи и болезнь матери заставили меня бояться жизни. Быть рядом с мамой было действительно необходимо, но для человека, у которого выход на улицу стал вызывать тревогу, это превращалось в оправдание. К тому же в моей компании не оказалось никого, кто в тяжелый момент затянул бы меня вниз, подсадил на наркотики или довел до тюрьмы. Словом, не было возможности даже заменить одинаковые серые дни на зависимость и решетку. Друзья потихоньку обзаводились машинами, платили за всю толпу в шаурмечных и строили планы на будущее. А я, бывало, по несколько раз в неделю ходил с мамой в онкоклинику, смотрел на ее слезы, а дома падал в мешанину одеял и простыней на продавленном диване. Диван и коридор поликлиники — все, что запомнилось из того периода. Это изменилось, когда я решил устроиться в театр. На выбор были две вакансии — какая-то канцелярская скучота в мебельном магазине и монтировщик сцены в Осетинском театре. Повинувшись своим не до конца угасшим романтическим порывам, я выбрал второе. Там я стряхнул с себя всю эту налипшую гадость бездействия. У матери рецессия. Дни, словно капли жидкости для химиотерапии, тягостно просачивавшиеся из пакета в трубку, закончились. Они заиграли живым оркестром, заскрипели деревом декораций и растянулись злыми улыбками падуг. Я неумело, с буквами, но работал, и после очередного успешно собранного и разобранного спектакля чувствовал себя мускулистым чудовищем. Таким доступным мне образом к лицедейству приобщался я.

Айлин я начинал слушать рефлекторно свысока, но быстро осекся. Трусиха Айлин не побоялась пару лет назад создать довольно неплохой букинистический проект, который заглох из-за того, что она рассталась со своим парнем — совладельцем дела. У нее множество знакомых и друзей, а она все равно чужачка. Инфантильная девочка с плохо осознаваемым профессионализмом женщины, который проскакивал тет-а-тет, в интонациях и ужимках, заняла меня разговорами до трех часов ночи. Я простил ей все из-за привлекательной противоречивости. Меня не особо волнует непоследовательность, меня волнует лишь то, приводит ли она вас к верному пути.

Проходя мимо сцены-ракушки в парке, мы взобрались на ее подмостки, и прохладный октябрь был единственным зрителем. Она села прямо на пол, и я, помявшись, последовал ее примеру.

— Здорово же?

— Да, подражание подростковым теледрамам превратилось во что-то запоминающееся, — и я, подгадав момент, провозгласил:

*Твой Поэт все запомнит: слезу Негодяя,
Осужденного ненависть, Проклятых боль,
Вот он, Женщин лучами любви истязая,
Сыплет строфы: танцуй же, разбойная голь!*

— Класс! Ирон театр не прошел даром, а, Хосе Аркадио? Откуда это?

— Рембо, «Парижская оргия».

Мне доставило удовольствие сказать этому светлому человеку такое порочное слово, как «orgia». Просто из озорства, зная, что она смущается от подобного. Не далее как час назад она рассказывала, что не любит Буковски из-за его пошлостей. Я его тоже не люблю, но по причине его пошлого занудства и общей туповатости. Эротизм должен быть либо тонким и сложным, как у Nabokova, либо наглым и вызывающим, как у Лимонова. Я также выкинул в пустоту ступенчатого зала строчки про ту рыжую девку с грудью, созревшей для боя, что, не глянув на падаль, взметнет кулаки, и улегся на пол сцены. Я подложил руку под ее голову, и она глядела на меня не как на падаль.

Мы бы пролежали там значительно дольше, если бы не погода. Я невольно подрагивал, но с той же радостью теперь привечаю в памяти этот деревянный холод, с которой вспоминаю и усыпляющую теплоту такси. Айлин положила голову мне на плечо, а я первым делом взглянул на взрослого водителя, проверяя его реакцию. В этот момент я был строгой субординацией осетинской семьи, а Айлин — очаровательной чувственностью. А сердце тем временем замирало, я привык быть один, привык не любить и замещать крепкое чувство скротечной привязанностью. Разница в том, что от первого ты долго откращиваешься, а второе принимаешь, зная, что власти над тобой это не имеет. В том такси Айлин победила, не оставила мне шанса.

Залитый оранжевым светом подъезд возник перед нами, и, сонливая от антидепрессантов, она исчезла за дверью, мягко попрощавшись со мной.

Промежутки между нашими встречами становились для меня все более невзрачными. Весь спектр эмоций перетек в наше общение, и каждое свидание превращалось в смесь радости быть рядом, стыда за одну гадскую ложь и упоения своей безнаказанностью, а также стыда за чувство этой безнаказанности. Как-то раз Айлин рассказала, что я написал ей в тот период, когда в интернете появилось видео, на котором к ней приставал с вопросами какой-то полускандалный блогер. Он расспрашивал ее о ней самой

на выставке, приправляя это типичным плоским юмором владикавказского планокура, а потом начал цеплять петличку за декольте ее кофты, и, по словам Айлин, тогда в ее директ повалили десятки узревших в этом сигнал к действию пацанов.

— Я тогда даже уехать хотела, что-то неадекватное началось в мою сторону. Он сам какой-то зек, вроде в тюрьме сидел, а еще участвовал в реалити-шоу типа «Дом-2».

— Да хрен с ним, я видел, как он однажды перед ментами извинялся, так что страшный реалити-зек только при виде красивых молодых девочек такой страшный. Я смотрел это видео, с тобой... — сказал я после небольшой паузы, во время которой понял, что она хочет знать, не из-за этого ли я ей написал. — Но наткнулся после знакомства, и единственное, что меня раздражало, это он.

Ее устроил ответ. Всю злость, которую испытывал к себе, я мысленно перенаправлял в адрес этого остряка. Представлял, как ворвусь в него, несправедливо докопавшись, не упоминая ее, — просто за взгляд, где-нибудь на улице. Ощупывал зажим ножа на внешней стороне кармана, это меня успокаивало. Но правда была в том, что я видел то видео еще до знакомства, его мне скинула моя на тот момент уже экс, с которой мы периодически флиртовали после расставания — просто посмеяться. Меня это не слишком повеселило, а написать Айлин я все же захотел.

Вспоминая об этом тогда, я казался себе говном. «Причины ниже пояса — такие же, как у других, просто ты удачливее и убедительнее». Я чуть не возненавидел Айлин за то, что она не шаболда, а лучшее, что случилось со мной за последние годы.

Думая об этом сейчас, я осознаю, что, нацепив на себя роль *amant de coeur*, Вселенная, Бог, Судьба или все вместе, — они решили не просто меня продинамить, а показать, насколько это жалко в сравнении с нею, с их шедевром.

Низвергнутый Люцифер смеялся, запрокинув голову. Он кричал мне обидные вещи бархатистым и в то же время надтреснутым голосом, упрекал в недостатке духа — больше, мол, не поведу тебя дорогами горя и радости.

— Вдвинься в толпу, проберись к красавице, словно случайно, вот когда время начать разговор — и Венера, и Случай, оба помогут тебе!

— Они уже помогли мне.

— А теперь ты морозишься, словно не в инстаграме⁴ ей написал, а увидел в воскресный день около протестантской церкви, в чепце.

⁴ Facebook/Instagram — проект Meta Platforms Inc., деятельность которой в России запрещена.

— Осади, черть. От чего я морожусь?

— Да даже от поцелуя. Мог бы уже. Пару-тройку раз были шансы.

— Футболка ты семьсотрублевая, ты еще шанс высчитай по теории вероятности.

— Восемьдесят — восемьдесят пять процентов примерно.

— Всегда знал, что математика — наука дьявола.

— Поэтому ты в ней и отставал всю жизнь. Недостаточно у тебя темперамента для дьявольских наук, Хосе Буэндиа.

— А что мне нужно? Взобраться на заброшенную часовню посреди грозы и попросить у тебя благословения?

— Это вовсе не обязательно, но, базара ноль, было бы славно.

— Я сейчас твою нарисованную голову к кресту придавлю, вот будет славно!

— Посмотри сейчас в камеру, — сказала девушка-оператор.

Я сидел на скамейке около офиса, закинув ногу на ногу, в футболке с лого Led Zeppelin и падающим Люцифером. В руках я держал «По ту сторону добра и зла» Ницше и позировал таким образом для первого (!) национального телевидения. Так случилось, что работников нашего отдела — меня и Диану Югенд, а также бывшую сотрудницу — позвали быть гостями эфира, чтобы показать, какие у нас тут творческие ребята. Они действительно одаренные, одна играет на пианино, вторая — на арфе Сырдона, обе поют и иногда выступают. Меня привлекли как ценителя литературы, но я, пускай и верил в свою исключительность, не имел на счету ни одного опубликованного стихотворения или рассказа. Зато я вел литературную рубрику #ЛепетитХосе в нашем официальном телеграм-канале и, к слову, только потом понял, что написал неправильно, так как в мужском роде это должно звучать «ле пти». Я не желал идти в эфир вдогон к настоящим гостям, но меня утвердили, убедили и не оставили выбора. Поэтому ради забавы я выбрал себе в спутники для съемок неизменные атрибуты пятнадцатилетнего нигилиста — Ницше и Сатану. Эффект был достигнут — консервативная съемка в лучших традициях регионального телевидения, с ракурсами из-за кустов, и рок-н-рольный мерч стали моим ле пти сарказмом.

Собственно, как и Жан, мы шли четвертым блоком, наименее приоритетным, зато наш эфир был на осетинском. Пять минут позора, как выразился один из сисадминов, закончились, я выдохнул, быстро покинул студию и направился к табачке. Кровь требовала немного никотина, денег на привычную электронную шайтанку не было, и я купил первую в своей жизни сигарету. Никакого эффекта, кроме романтического. Затягиваясь, я ощущал себя аналоговым парнем в цифровом мире. Выкурил ее прямо в офисе, а после

манерно отправил в окно. А в жилом доме напротив, сидя на подоконнике и свесив одну ногу, в меня вперила взгляд темная фигура. В вечернем полумраке не было видно лица, но казалось, что фигура запрокидывает голову и смеется.

Вторая моя сигарета случилась возле подъезда Айлин. На этот раз немного ударило, хотя электронки действуют сильнее и быстрее. Сладковатый дым чапмана, к моему неудовольствию, совсем не впитался в одежду, и Айлин ничего не унюхала. Тем вечером мы решили сделать круг, буквально на пять минут, но он растянулся и охватил части Промышленного и Северо-Западного. На ней была красно-черная теплая рубашка в твинпиксовскую клетку, которая отлично вписывалась в отдельные закутки опустевшего города, напоминавшие окрестности Черного Вигвама. Еще не оправившись, она шмыгала носом, и голос ее был простуженный. С одной стороны, мне было жаль водить ее по стынившим осенним улицам, а с другой — жаль себя, неприкаянного, среди облезлых коробок. В моей руке ее теплая, возможно из-за температуры, рука, а могла бы быть перекладина турника, к которому я возвращался каждый раз, когда надо было довести тело до изнеможения и отвязаться от мыслей. В любых других проявлениях спорт казался мне неинтересен. Но, поистине, холодный душ и физическая активность решают большую часть проблем белого человека. Ощущая себя слабым, презирая себя, встаешь на кулаки параллельно полу, сгибаешь локти и выпрямляешь — так раз сорок. И с каждым разом слабости и презрения все меньше. Но что делать, когда туповато собою доволен и даже стыд за малодушие упирается в мещанское «Бог столько от тебя не требует»? Что делать, когда от прикосновения ладоней плавит больше, чем от сигарет, и это желеобразное внутреннее состояние перестает вызывать у тебя ненависть? Конечно же, нужно поцеловать ее и предложить стать твоей девушкой.

Замкнув круг на ее подъезде, мы сидели рядом, и после неловкого сокращения дистанции произошел бэзэ франсэ. В два захода, быстро; я положил руки на ее талию, и она отстранилась. Смущенно улыбнувшись, сказала, что ей пора. На прощание я поцеловал ее руку и проводил взглядом. Больше не было холодно, больше не было несовершенного города, лишь совершенная фантазия о нем и обо мне в нем, ступающем по слетевшей листве, поздно ночью бредущем домой от ангела, отдающем последние деньги и радующемся, что они так часто кончаются. Нет больше власти траншей-зарплат-на-ход и прочего, нет угрызений совести, есть только уверенность, испанское погоняло и боснийское имя.

Предложение завстречаться последовало спустя пару дней, она попросила время на подумать и через два дня сказала «нет». Не

прямо так, конечно, — было длинное сообщение, довольно комплиментарное, она очень постаралась сгладить все уголки и написала, что пережила трудное расставание, поэтому ее «холодное сердце не скоро оттает». Она попробовала разрядить ситуацию фразой из «Бойцовского клуба» про странный период жизни, и я таки отстал.

— Ты как?

— Ну это уже оскорбительно. Лучше всех, как всегда, — ответил я в привычной манере.

— Вот это ответ настоящего джигита!

Действительно, меня и задело, и позабавило, что она забеспокоилась обо мне в тот момент. В наше время все помешаны на психотравмах и выдают за них что угодно. Мало-мальски токсичная среда в жизни очередного слушателя подкастов — и вот недоучка-психолог досрочно гасит кредит на айфон. Он не расскажет вам, что здоровее токсичной среды ничего нет, а человек, как средневековый алхимик, должен впрыскивать в себя несмертельными дозами яд, а иногда и смертельными, чтобы выработать иммунитет. Нет момента лучше, чем когда у тебя от страха подкашиваются ноги или когда от предвкушения перехватывает дух, а личный комфорт — это легитимная трусость.

Вдоволь накопавшись подростком в себе, я пришел к простой истине и поделил все на силу и слабость. Детские обиды — это слабость, лишняя рефлексия — слабость, боязнь говорить прямо о слабостях или усиленное стремление к этому — слабость. А сверкающие вершины силы, как только бросят жадный отсвет на свежеостриженную голову, становятся заманчивее интерьера в пастельных тонах и арт-терапевтической акварельной мазни в углу комнаты.

У Айлин были причины не доверять людям, были сложные жизненные обстоятельства, смерти родных, но ее они поломали больше, чем могли бы, если бы не современный культ травмы. Психология — опиум для народа. И Айлин проявила ко мне благородную щедрость ширового, спросив «как ты?» после отказа. Это было искреннее желание не причинить боль.

Какое-то время спустя мы договорились, что станем известными и будем в интервью упоминать, как застали первые шаги друг друга. А я тем временем писал сотруднику Русского дома в Буркина-Фасо по поводу работы и переезда. Тамошний президент Ибрагим Траоре стоял у меня на аватарке довольно продолжительное время. В маске до глаз и берете, классический герильеро. Интересно было бы увидеть его живьем.

Сармат КАДИЕВ

АВТОПОРТРЕТ

СТИХИ



следующим

Мне оправданием будет время
и странные каракули судьбы
а буквы выведенные мною
запомни а не заучи

пусть будут просто поговоркой
болванкой на игле
проговори пропой промямли
на кухне на балконе в ванной

бубни бубни бубни бубни

и лишь когда слова сольются
и станут просто шумом дней
и будут пробегать по коже
и отражаться в зеркале

тогда скажи что ты все понял
сострой презренье на лице
перешагни меня но помни
слова что пели о тебе

* * *

только радость
усталость
и крик
только шум от возни шестеренок

частушки
молитвы
пошленький стих
и пыль с заброшенных полок

только липнущий запах вина
и рыдание ржавых петель
только он
только ты
только я
только цокот и шепот потерять

только пляска огней по стеклу
только трещин чернеющий холод
только след от луны на полу
и на стенах
лица
пустующий обод

* * *

караван
вишневой ваты
вдоль неба разливается

жизнь поет
за пыльным окном
фальшивя мотором

не верой
не знанием
жизнь наладится
детским смешком
вопрошающим взором

* * *

и значит есть мое на этом свете
и мне есть место у огня
и кто-нибудь
когда-нибудь
за плечи
обнимет и меня

со мной поговорят о важном
и помолчат
о чем-нибудь таком
что облекать в слова опасно
кощунственно
иль просто тяжело

и кто-то будет ждать меня
у запотевшего окна
устало всматриваясь в город
и кто-то будет верить
верить так в меня
как верят сумасшедшие
в масонов

и кто-то скажет все пройдет
и кто-то будет рядом...

я жду
пока мое меня найдет
один
под листопадом

* * *

дорога
однажды
замыкается в круг
но это ли есть возвращение
прежние места
в силах вернуть мне
былое значение

увы
вернуться нельзя
то буду уже не я
а высеченное временем
и закаленное расстоянием
иное состояние
души и тела

...и имя поменяет звучание
сердце будет иные ритмы стучать
жизнь

вечно-блаженное расставание
и в ней ничего
не бывает опять

автопортрет

растекшееся по лоскутному мольберту
 пятно самодурства
 несогласия и сентиментальности
 черты неясны и размыты
 как и представление о реальности
 собственного существования
 точнее наличия себя
 у себя
 в подсознании
 оставлен
 или потерян
 в памяти
 образ
 по которому можно было восстановить
 рукожопость создателя
 размазан
 навязанной попыткой понравиться
 только два глаза болотного цвета
 всматриваются в наблюдателя
 в попытке угадать себя

* * *

и наверное
вся суть моих песнопений
усталая радость за тех
кто топчет мокрый песок
вышагивая лестницу в небо
в остроге сомнений
и узнице снов
я жизнь воспеваю потерей
и пусть я устал
но крошево слов
забывается под мраморным небом
мир искорежится горстью нагой
под ладаном молний и света
каждый мой крик
просто песня о том
что песня еще недопета



Дина САПЕГИНА

ЯЩЕР

РАССКАЗ



Втом году я похоронил мать. Болезнь пришла летом, а уже к концу осени всем стало ясно, к чему идет дело.

— Это как сорняк. — Она уже не вставала с кровати, и даже приподнять свое тело, нечеловечески худое, чтобы опереться об изголовье, было для нее чем-то непосильным. — Похоже, что на этой семье настоящее проклятье.

Я готовил завтрак, когда она подозвала меня к себе и глубоко посмотрела мне в глаза. Она сказала:

— Какой ты красивый мальчик. Просто чудо.

Я выдавил из себя улыбку, но она уже будто и забыла обо мне; она осматривала комнату с каким-то странным выражением, цепляясь взглядом за каждый предмет, пока ее зрачки не остановились на собственных руках.

— У меня никогда не было таких ногтей.

Тогда я подстриг и почистил ей ногти. Она удовлетворенно кивнула, и мне показалось, что в ней на самую малость прибавилась жизненной силы.

Она сказала:

— Если я съем кизилового варенья, мне станет лучше. Возможно, это именно то, что снимет с меня проклятье.

Я немного приободрился. В последние дни у нее совсем пропал аппетит, так что теперь она могла говорить, что это дурацкое варенье и мертвого поднимет из могилы. Пускай, лишь бы снова начала есть.

Было хорошее ноябрьское утро. Тепло в этом году задержалось, и в общем дворе на лавочке сидели крикливы соседки в своих пестрых платках. Одна из них подошла ко мне, и я увидел, что глаза у нее на мокром месте.

— Скажи ей, что пила луковую настойку. Скажи, что я узнавала. Одна тут пила — и вылечилась.

Она стояла совсем рядом, но почему-то мне казалось, что я смотрю на нее сквозь толщу мутной воды. Я сказал ей:

— Конечно.

— Скажи, пусть пьет дважды в день. Нельзя пропускать. Один раз пропустит — и весь эффект исчезнет.

У меня разболелась голова. Я спросил:

— У вас не найдется кизилового варенья?

— Что?

— Кизилового варенья.

Она округлила глаза.

— Ты что, совсем меня не слушаешь? Я говорю — луковая настойка...

Следующие несколько часов я провел в поисках этого варенья, пока не увидел наконец заветную банку в отделе с прочими закатками в седьмом по счету супермаркете.

К тому моменту как я вернулся домой, голова болела уже невыносимо.

— Гляди, — я потряс банкой в воздухе, как победители делают это с кубками на каких-нибудь соревнованиях.

Она посмотрела на банку, потом на меня — и отвернулась. Ее лицо снова было лицом женщины, которая умирает — я хочу сказать, никакой жизненной силы. Я сходил за ложкой, открыл банку и присел на край кровати. Она сказала:

— Я не буду есть эту магазинную дрянь. Мог постараться и найти домашнее.

— Но попробовать-то можно.

— Неблагодарный мальчишка.

Я знал, что она злится не на меня, а на то, что умирает и что это непоправимо, как непоправимо то, что солнце восходит на востоке и садится на западе.

— Какая разница, что магазинное, если оно снимет с тебя проклятье.

Она посмотрела на меня — прямо, очень прямо. Я едва выдержал этот взгляд.

— Не будь идиотом. Проклятий не существует.

Я выпил таблетку от головной боли — они никогда не помогали, но я все равно выпил. Приготовил обед. Потом улегся на диван и некоторое время наблюдал за радужными солнечными зайчиками на потолке от старой хрустальной люстры. Они дрожали и покачивались, потому что сама люстра тоже покачивалась от ветра из открытого настежь окна. Я закрыл глаза, а когда открыл их, вокруг были синие сумерки, и у меня никак не получалось сооб-

разить — утро сейчас или вечер; вместе с тем я сразу понял, что она умерла. Дело в том, что дыхание ее в последние месяцы стало тяжелым, хриплым — я же оказался в невообразимо полной тишине. Я подумал: как странно, голова совсем не болит.

Перед похоронами моя девушка сказала:

— Лучше бы все прошло гладко.

В тот момент я стоял перед зеркалом и никак не мог справиться с пуговицами на манжетах. Костюм пришлось одолживать, и он был явно тесен мне в плечах; я, пока возился, обдумывал, на скольких похоронах побывал этот костюм.

— Ты слышал?

— Лучше бы все прошло гладко.

— Вот именно.

Она хотела сказать, что мои отношения со всей многочисленной родней были натянутыми. Приехали, конечно, не все, но и тех, кто приехал, видеть мне не хотелось. Зачем-то привезли с собой близнецов — они еще даже не были подростками. Красивые, вихрастые, с румяными щеками. Просто ангелы.

Я слышал, как один сказал другому: «Из-за этой старухи в кино не пошли». Потом они увидели меня, и их мать сказала:

— Обнимите дядю, — и они, настороженные, подошли и по очереди приткнулись ко мне.

У них была эта игрушка йо-йо — пластиковый кругляшок на веревочке, который разматывался, мигал желтым и красным и возвращался в руку; они передавали ее друг другу по очереди; кажется, они соревновались, кто сделает с ней больше трюков. Эти желто-красные вспышки весь день были в поле моего зрения — в углу комнаты, на улице, в машине по дороге на кладбище. Когда я закрывал глаза, из темноты выплывали эти быстрые огоньки. И даже тогда, когда гроб стали засыпать землей, я увидел их и, выхватив игрушку из рук у одного из близнецов, швырнул ее в густые заросли, за ограду одной из десятков забытых и неухоженных могил. Сперва искривилось ангельское лицо одного близнеца, потом — второго, и они заплакали — горько, с надрывом, сотрясаясь всем телом. Их быстро увели, и кто-то сказал:

— Они только дети.

Потом, уже вечером, мы возвращались пешком, я и моя девушка. Она молчала и глядела куда угодно, но не на меня. Домой мы пришли совсем поздно, и в комнатах было тихо и как будто

особенно темно. Я щелкнул выключателем, но ничего не произошло. Тогда часто отключали электричество. Я сказал:

— Почему бы тебе не остаться здесь насовсем?

Она не ответила, и я подумал: ей, должно быть, обидно, что все ее старания пропали даром — в конце концов, она взяла на себя почти все хлопоты сегодняшнего дня, чтобы все прошло как следует. Я подошел к ней и, хотя вокруг было чернее черного, почувствовал ее лицо в нескольких сантиметрах от моего. Она перестала с духами — по правде говоря, такой тяжелый запах ей совсем не подходил, и я испытал это странное чувство — почти что жалость; наверное, потому что она не была такой красивой, какой хотела бы быть. Я взял ее за плечи, но она отвела мои руки.

— Все же это как-то неправильно, — из темноты ее голос звучал глухо и отстраненно. — Ты знаешь, я всегда плачу на похоронах. Ничего не могу с собой поделать. А ты, кажется, даже не грустил.

Я хотел ей что-то ответить, и она покачала головой — я не увидел этого, но готов поклясться, что именно так она и сделала.

— Думаю, у тебя жестокое сердце, — ее голос смягчился, и она сказала это с неподдельной грустью, — думаю, ты в этом даже не виноват.

Я усмехнулся, а она замолчала. Однажды мне уже говорили подобное. Тогда я впервые был с женщиной — она была сильно старше и принимала мужчин в той крошечной квартирке на мансардном этаже. По привычке она вела себя так, как ведут себя только красавицы, хотя красота ее давно прошла, и дело было даже не в том, что ее молодость безвозвратно утрачена, а тело располнело и размякло, но в этом выражении, которое навсегда законсервировалось на ее лице. Вот в чем было дело. Но на самом дне ее зрачков было столько сладострастия, что этого хватало, чтобы забыться и прийти в себя уже после; и тогда, опустошенный, я посмотрел на нее по-настоящему — белая плоть, бесстыдство, от которого хотелось и не хотелось отвести взгляд. Перед тем как я ушел, она сказала: «Я вижу по твоим глазам, что ты жестокий человек». Что тут ответишь?

После похорон моя девушка еще приходила ко мне какое-то время, но разговоры у нас не клеились, так что мы коротали время за просмотром всего, что под руку попадется — иногда включали лучшие фильмы на свете, а иногда — бесконечные телешоу на любой вкус, и между первым и вторым я перестал чувствовать какую бы то ни было разницу; все было одинаковым.

Я перестал убираться и готовить; кроме того, мои головные боли усиливались. Она, моя девушка, была очень милой, но однажды — я знал, что она вот-вот придет — во мне появилось это

необъяснимое желание заколотить дверь изнутри. Может, я бы так и поступил, если бы не услышал ее шаги. Она поднялась по ступенькам — одна из них, как всегда, скрипнула — но стучать не стала. Она затихла, немного постояла у двери и ушла — как будто узнала мои мысли. С тех пор мы больше не виделись, и я зажил этой странной жизнью.

Я перестал ходить на учебу. У меня были кое-какие накопления, и я прикинул, что этого хватит на несколько месяцев. «Потом, — подумал я, — подвернется какая-нибудь работа». Днем я спал и просыпался ближе к ночи с тупой ноющей болью в затылке. Тогда я выходил на прогулку — от церкви, через одноэтажную часть города — и куда ноги понесут. От ночного воздуха боль немного отпускала. Я ходил дворами и переулками и проводил самому себе экскурсию по невнятной и бестолковой жизни. Здесь подрался первый раз — вернее, меня отпинали и выбили передний зуб. Здесь крутили старые фильмы, и я видел, как Мушетт прикладывает к плечам платье или как Сарагина выходит и начинает свой танец; потом перестали, и я всем говорил, что ненавижу старых режиссеров; они погрязли в самолюбовании, а меня тошнит от этого — так я всем говорил. Здесь панельная развалюха, и в окне пятого этажа висел мой друг — не помню, отчего ему захотелось выйти, но мы втянули его обратно и потом все сделали вид, что ничего не случилось и жили дальше. В этом дворе живет девушка, которую я знал — просто девушка, ничего больше и не скажешь. На этой лавке во время одного из приступов, который, я был уверен, меня прикончит, я сидел и смотрел, как звезды становились огненными и их свет из ледяного переходил в теплый и потом горячий, то есть в огненный очень красиво переходил, и обратно; обычно они белые и ледяные, а тут вдруг огненные. Это я увидел, пока сидел на лавке в этом городе и чувствовал родство — не знаю, с чем именно, но с чем-то.

Я познакомился с Давидом зимой, в первые дни нового года. В ту прогулку меня в очередной раз скрючило от боли, и даже ночной воздух не помогал. Я сел на корточки и обхватил голову руками. Это было на одной из тех узких и безлюдных уочек недалеко от центра, где иногда открывались небольшие кафе. Как правило, все они были убыточными, и через месяц-другой за стеклянными витринами вывешивали объявления: «продаю» или «сдам в аренду». Как раз в такое место он меня и привел и усадил за один из столиков в пустом темном зале; сам сел напротив и уставился на меня. Я отнял руки от головы и прижал их вдоль тела.

— Что сожрал?

— Я не наркоман.

— Все вы не наркоманы, — он вздохнул и осмотрел меня с ног до головы. — Скорую вызову, проблем не будет?

— Не надо скорую. Это не лечится. Есть где умыться?

Он сощурился:

— Руки покажи.

Негнувшимися пальцами я закатал рукава, и он осмотрел мои предплечья.

— Так я умоюсь?

— Умойся. Только я все равно с тобой пойду. И чтобы без этого... — Он сделал вид, что затянулся несуществующим косяком.

Когда мы дошли до уборной, я встал над раковиной и сунул голову под холодную воду.

— Ты здесь коньки не отбросишь?

Я повернулся и увидел, что он стоит в дверном проеме, сцепив руки на груди.

— Не должен.

Он немного помолчал; потом сходил за вафельным полотенцем и бросил мне его на плечо.

— Меня зовут Давид.

Я тоже назвал свое имя.

От холодной воды стало немного легче, и через десять минут я снова сидел в этом небольшом зале. Давид включил несколько настенных светильников, так что я огляделся как следует. Здесь могли расположиться не более десяти человек одновременно — три крохотных столика на двоих и еще четыре стула у барной стойки. Просто, но опрятно. Я глянул через витрину на рекламный щит у входа. «Кофе и выпечка».

— Имей в виду, еще ничего не готово, — он поставил передо мной чашку американо и выжидательно посмотрел в мою сторону. Я молчал.

— Спасибо, Давид, ты очень любезен, — подсказал он и сел напротив.

— Да, — я спохватился, — да, спасибо.

Тогда я понял, что до этой ночи ни с кем не разговаривал на протяжении месяца, а может, и того дольше. Не знаю, что так на меня действовало — наверное, то, что боль отступила, или то, что на улице еще даже не начало светать, а внутри кофейни горел мягкий теплый свет и пахло свежемолотым кофе, — сказать трудно, но впервые за долгое время мне ужасно захотелось поговорить.

— И как идут дела? — Я обвел глазами маленький зал.

— А-а! — Давид неопределенно махнул рукой, потом сузил свои глаза. — Думаю, ты и вправду не наркоман. Тогда что с тобой такое?

— Голова болит.

— Ну это серьезно, брат, — он значительно кивнул.

— Голова болит, потому что во мне сидит чудовище.

— Ну да.

— Я это в детстве так думал. Лет в семь началось. Как будто изнутри железным прутом прижигают. По врачам водили — говорят, ничего. Нет диагноза. Таблетки не помогают. Так что я тогда сам решил, что это из меня наружу чудовище хочет вырваться. Однажды у него получится, и голова расколется как орех — так мне казалось.

Давид задумался.

— Чтобы такое выдумать, и вправду сильно болеть должно. Как так — нет диагноза?

Я пожал плечами.

— Говорили, что это из-за того наводнения.

— Какого?

— Было одно. В Садоне, давно еще.

— В Садоне? Это где бельгийцы и шахты?

Я кивнул. Бельгийцы и шахты. Наш дом стоял у самой реки.

— Да, — он задумчиво почесал подбородок. — Помню такое.

Говорили, что не все выбрались.

— Не все, — сказал я, и мы оба замолкли.

— Ну вот что, — он хлопнул в ладоши и поднялся. — И так из-за тебя не успеваю к открытию. Сиди тут, если хочешь.

Давид ушел на кухню, а я опустил лицо в сгиб руки и закрыл глаза. Неподалеку залаяла собака, а потом тихо заиграла музыка; было непонятно, внутри кофейни или снаружи. Впрочем, различия никакой — а хоть бы и у меня в голове; я ухватился за этот мотив — и уснул.

Когда проснулся, утро было в самом разгаре. Через столик от меня расположились мужчины в зимних спецовках, и еще две девушки за барной стойкой пили свой кофе.

Давид перехватил мой взгляд и сел рядом.

— Сахарные крендельки, сдобные булки, рогалики с посыпкой. Без изысков, что есть, но очень даже недурно.

— Как-то слишком жизнерадостно для меня.

Он развел руками:

— Все, как ты скажешь.

Мне не хотелось быть грубым, поэтому я добавил:

— Думаю, все дело в том, что сейчас утро. Я теперь обычно сплю в это время.

— Что, утро слишком жизнерадостное?

Я огляделся еще раз. Мужчины в спецовках разговаривали естественно и ладно, их речь, природная и живая, была приятна для слуха; снова пошел снег, а в кафе пахло хлебом.

— Пожалуй, что и так. Как будто декорации.

— То есть как?

— Как будто намалевали.

С улицы заглянули дети с шустрыми глазами — девочка и пацан лет шести, и Давид им широко улыбнулся. По лицам стало понятно, что он им тоже понравился, а на меня они глядели с честной детской неприязнью. Это ничего — я все равно им помахал. Потом пришла женщина редкой красоты и выволокла их на улицу; было видно, что пацану досталось. «Я отучу тебя лгать», — сказала женщина и влепила ему первоклассную пощечину. Потом все трое скрылись из виду, а Давид изменился в лице, как если бы переключатель какой нажали.

— Так нормально? — Он посмотрел на меня тяжелым взглядом. — Достоверно?

Я ничего не ответил. В то утро я съел четыре порции сахарных крендельков; Давид окликнул меня перед уходом. Он сказал: «С Рождеством».

Я и не помнил, какой был день.

Давид, конечно, и сам не знал, что он сделал; похоже, если возвращается вкус к еде — возвращается вкус к жизни. Кроме того, мои сбережения были на исходе — значит, пора было становиться частью этого мира. Я нашел себе подработку на полставки в строительной конторе и, потому что больше не мог жить в доме, где умерла мать, снял комнату.

Моим соседом оказался слепой старик, сидевший в затворниках последние годы своей жизни; по крайней мере, ни разу я не видел, чтобы он выходил из дома с тех самых пор, как я въехал. За все наше соседство разговорились мы два раза — однажды он рассказал историю, в которой оказался предателем и трусом, в другой раз — о том, как ловил в детстве светлячков.

Еще была Ева и ее мальчуган. Когда-то она не знала никакой нужды; теперь же держала точку на вещевом рынке и едва сводила концы с концами. Одного взгляда на ее пацана хватало, чтобы разувериться во всякой благости детских лет, потому что в его мире случайно разбитая кружка или неубранная точно ко времени кровать означала грех, который никогда не забудется, а только лишь присоединится ко всем тем, что уже имелись за его плечами. В таких случаях

она говорила: «Скорее бы Господь забрал меня, ведь этого тебе хочется, отвечай». В хорошие же дни она хватала его за худенькие плечи, прижимала к своему мягкому телу и говорила: «Иди я тебя обниму, ты так хорошо улыбаешься, маленькая обезьянка», и потом: «Верь себя Отцу Небесному, давай помолимся перед сном, давай вольнемся за руки», и они плакали оба, но каждый о своем.

Под конец той зимы с ней стал жить мужчина, который был груб со всеми остальными, но ласков с ней и с ее сыном. Он по-хозяйски разваливался на общей кухне, курил самокрутки и разрождался монологами о том, какие все вокруг сукины дети, но ее — гладил по щеке, и говорил: «Тебе непременно надо бросать эту работу, потому что такой, как ты, ловить там нечего». Сам он не работал нигде, но пару раз в месяц приносил большую клетчатую сумку, набитую всякой техникой — в основном бэушными телефонами и ноутбуками. Он сказал: «На этом можно хорошо заработать», и Ева не спрашивала, откуда он все это взял. Так и вышло. Они зарабатывали и жили хорошо и даже думали снять целую квартиру — до того момента, пока он не пропал раз и навсегда, прихватив с собой все ее деньги. Тогда ночью она пришла ко мне и сказала: «Верни все, что ты украл», а потом рухнула на пол; я присел рядом с ней и всю ночь слушал, как она проклинала каждого мужчину в своей жизни. Я думал, что, наверное, в молодости она была хороша даже тогда, когда плакала; сейчас же ее слезы были нелепыми, некрасивыми. Моя голова начинала болеть.

Я вышел на улицу и замер у двери. Никак не мог припомнить, было ли еще такое — снег во Владикавказе в середине апреля. Не какой-нибудь там, а настоящий, густой, крупными хлопьями. Район стал белым. За шиворот сейчас же свалился ледяной ком с козырька над подъездом. Никто не успел натоптать, я был первым, и снег лежал цельным полотном; разве что дворник расчищал дорожки. Когда он увидел меня, махнул рукой: «Салам алэйкум!» — и я подумал: а правда, что по твоей вере в раю тебя будут ждать семьдесят две гурии — черноокие и прекрасные?

Скоро должно было светать, и я вспомнил Давида. Сейчас он наверняка готовится к открытию, и в кофейне горит теплый свет и уже пахнет выпечкой. Я решил повидать его, а пока шел, вспоминал ту зиму, которая была много-много лет назад. Тогда рядом с домом завелись две бездомные длинношерстные колли. Я никогда не видел таких собак прежде и боялся их тонких лап, заостренных морд и голодного взгляда.

— Они как волки, — говорил я, когда они вырисовывались темными силуэтами на белом снегу, но отец крепко держал мою руку, и тогда страх пропадал. Мы проходили мимо, и я видел, что их длинные лапы мелко дрожали, а бока под свалявшейся шерстью впали внутрь.

Когда я оказался на месте, то увидел эту вывеску — «сдается в аренду». Ни сахарных крендельков, ни теплого света за витриной. Рекламный щит и тот убрали. Зачем-то я постучал; потом сложил ладони домиком вокруг лица и припал к стеклу. Ничего. Я счистил рукавом снег с крыльца и уселся. Ни людей, ни машин; ни в одном окне не горел свет. Зато рядом со своим ботинком я уловил какое-то движение. Маленькая ящерка юркнула под одну из каменных ступеней, на которых я сидел, и потом снова показалась уже у другого ботинка.

Я взял ее двумя пальцами и поднес поближе к лицу. Самая обычная ящерица — из тех, что чаще всего можно встретить в летний день на кирпичной стене дома или на прогретом солнцем булыжнике. Я сказал:

— Даже думать не стану, откуда ты здесь взялась.

Потом перевернул ее брюшком кверху, и она стала перебирать лапками. Все-таки это было очень странно, что ящерица сидит на снегу. Мне подумалось, что не составит никакого усилия сдавить ее между указательным и большим пальцами. Я посадил ее обратно на ступеньку.

— Какая ты беспомощная, никакого толку.

Она посидела несколько секунд и снова скрылась под крыльцом. В затылке стало ныть сильнее. Я выругался и попытался дышать так, как учили меня доктора в детстве. Выдох должен быть длиннее, чем вдох. Я было понадеялся, что в этот раз обойдется — иногда так бывает, поболит немного и проходит, ничего особенного. «Вдох на четыре счета, выдох — на восемь». Сделалось только хуже, так что я забросил эти дыхательные упражнения и просто стал ждать. Если подумать, тут уж ничего не поделаешь. Раз уж накатит, так накатит, дыши хоть на восемь, хоть на сто восемь. Так что я сидел там и ждал, пока все случится — откинул голову назад и уставился на ветки в снегу, на просветы темного неба, на звезды. Пока в голове усиливалось, в деревьях был ветер, и я вспомнил, что в детстве мне это больше всего нравилось — деревья в снегу. А когда меня совсем прибило к этому крыльцу, я только и делал, что вспоминал всякое, чего обычно старался не вспоминать. Наш старый дом, пока река еще не вышла из берегов, тот светлый день в центральном парке, отец в начищенных ботинках и мать, еще молодая, соцветия сирени, мокрые от дождя, большой праздник, и повсюду лица — те, которые забылись, и те, ко-

торые забыться не могут; и потом — дни, когда везде стояла вода, отец в начищенных ботинках в гробу, похороны, похороны, сладострастные глаза женщины, игрушка йо-йо в руках у близнецовых, мигающая желтым и красным — короче говоря, огненным, совсем как эти звезды, когда моя голова раскалывается надвое, мозг прижигают раскаленной железкой и из меня вылезает чудище или ящер — ну, в общем, зверь: спинной хребет имеет отличительные отростки, передвигается на двух или четырех ногах, питается другими особями, никогда не видел огненных звезд, а я видел — когда меня прибило совсем намертво, они сошли на меня, все миллиарды звезд сошли, и я тоже стал весь живой огонь, и я вдохнул их, вдохнул на четыре счета.

...Потом уже, когда поутихло, когда я очухался и встал кое-как, то увидел свою кровь на этом снегу. Потрогал затылок, теплый и липкий; поглядел по сторонам — видел ли кто-нибудь, как я бьюсь головой о ступеньку. Улицы по-прежнему были пустыми. Я почистил руки снегом, накинул капюшон и поковылял домой. С каждым разом все хуже и хуже.

Апрель жестокий месяц. Начнешь припоминать себе самому, как в детстве делали то или это. Как, например, нашли мужика в сугробе перед школой — подумали, что мертвец, а он встал, отряхнулся и послал каждого из нас по очереди. Под ногами скрипело и переливалось. Почему-то я вспомнил про этого слепого старика, моего соседа. Он сказал: «Проживу еще одно лето — и можно умирать». Сказал, что в летнем вечере есть благодать.

— Слыши.

Их было пятеро, этих парней. Они все стояли напротив входа в центральный парк и курили.

— Есть че?

Один подошел ко мне вразвалочку, а остальные остались где были. Я ответил, что нету, и сжал кулаки в карманах.

— Че, кайф? — Он улыбнулся беззубым ртом и показал глазами на это все. — Глобальное потепление, глобальное потепление... Белым-белом.

Я расслабился:

— Да. Красиво, — и почувствовал, как горячая кровь стекает за шиворот.

Этот старик, когда был еще совсем мальчуганом — я точно это знаю, — поймал шестнадцать светлячков и посадил их в коробок от спичек, и был счастливей всех, пока не понял, что они мертвые.

Он сам мне это рассказал.

Залина ДОГУЗОВА

Я — ОБРЕТШАЯ БОДХИ

СТИХИ



* * *

Этот мир для меня исчужал —
неба зеркало
отраженье мое вкривь да вкось
исковеркало...
Все снаружи, внутри и кругом
дышит холодом,
и бесцветными стали огни
бела города...

СКАТИЛАСЯ В УТРО БЛЕДНОЕ

Скатилася в утро бледное
Горькая капля последняя...
Разжала ладони небрежно я —
Вот так отпускают прежнее...

Я вырвалась черным вороном,
Душу разбила над городом....
Нас больше нет в мире целыми...
Мы так неумело прицелились...

А капля была последнею...
Две крайности — не было среднего...
Хоть небо наш помнит полет —
Горячим не сделался лед...

* * *

Напиши на оконном стекле
Хоть дождем, хоть полуденной пылью,
Будто клинописью по скале,
Что «распятие» мне отменили...

Иль рунами ты напиши,
Непрерывной арабскою вязью...
Донеси, объясни, опиши...
Все наречья используя разом...

Откопай меня в груде руин,
Отмени безысходность тревоги...
Я кочевник пустынь — бедуин,
Помоги мне не сбиться с дороги...

* * *

Я любила тебя по-разному:
То до одури, то по-праздному —
Светлой нежностью девственной фрезии —
Я любила тебя поэзией...

Я любила тебя по-своему —
Сверхурочно, почти утроенно,
И какой бы мы мерой ни мерили,
Я тебе до безумья верила!

Я любила тебя безбашенно,
Безоружно и приукрашенно,
То царицей цариц, то простушкою,
То душою просяще-ждущею.

И любила я — до нетленности,
Вопреки неизбежной бренности!
Я любила тебя сердцем суфия,
Силой яростною Везувия!

ПОСТФАКТУМ

Тени застыли в полночь,
Солнце насквозь пробито,
Мысли в ладони скомкать —
Лица в упор размыты.

Россыпью мелких бусин —
Вдребезги сердце по стенам,
Толком не ведая сути,
Стало чужой мишенью.

Бьет по лицу мне градом
Неба стеклянный купол.
Некто, лежащий рядом,
Пульс мой едва нащупал.

Я ухватилась цепко —
Намертво в жизнь вцепилась!
Целился ты неметко...
Выжив, переродилась.

* * *

Чем мне измерить мое одиночество?
Ноющей болью, тоскою,
пророчеством?
Сердцем стесненным,
дрожащим от холода,
тихим молчанием,
криком отчаяния,
может, безликостью серого города
или душой, что на части расколота?
Непониманием до удушия
или твоим малодушием?

Чем же прикажешь унять одиночество?
Криком истошным, и не морочиться —
дулом к виску —
умереть, обесточиться?
Чтобы не помнить, не знать — мне так хочется...

P. S. Стало судьбою мое одиночество...

БУДЬ!

Не суди мою буддowość!
Всё! Не знала я будто вас...
Состояние — Будда,
Не болело как будто.
Я — обретшая бодхи!
Победившая дуккхи!
В череде вечных Будд,
Хоть последним, но будь!

Азамат КАРГИНОВ

СЕРОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ

РАССКАЗЫ



5:41

*But when the Night had thrown her pall
Upon that spot, as upon all,
And the mystic wind went by
Murmuring in melody —
Then — ah then I would awake
To the terror of the lone lake.*

Edgar Allan Poe

... **а** ночами к ней приходило чувство Великого Обещания, будто кто-то большой и очень важный переговаривался с другим большим и важным поверх ее головы, а она случайно подслушала. И в том разговоре малым всполохом из-под руки говорящего проблескивало что-то, жарким тестом наплывавшее на нее из центра живота по плоской костистой груди, вдоль жилистой увядшей шеи, пока не отливалось глухой волной в ушах. Аглай терпела, жмурилась и закрывала уши тонкими бледными пальцами, утирала испарину о тяжелую подушку, но каждый раз сил прогнать навалившееся не было. Тогда она выпрашивалась из душных одеял и, ежась на ночной холод, шла неверными осторожными шагами к красному углу, зажигала лампадку и надолго замирала, стоя на коленях.

То ли от молитвы, то ли от сквозняка, поднятого ее шепотом, гул стихал. Ее губы шевелились уже не беззвучно: до ушей долетало привычное «Надеждо всех концев земли, Пречистая Дево, Госпоже Богородице, утешение мое...». Но там, где-то под местом, где рождается шепот, бились совсем другие слова. Слова нежности и утешения маленьского, бесконечно родного существа все норовили проскочить, пролезть непрошеными, но этот порыв Аглай давила с легкостью. И из темноты испуганно проступала комната, а сквозняк становился стилетным и острым, холода мокрую на спине ночнушку особым, злым холодом. Успокоенная этими заверениями Аглай уже совсем на ощупь по своим следам возвращалась к привычным снам, в которых к ней приходила покойная бабка и гладила ее по рано поседевшей голове, пока их не заставало утро.

И каждый раз, вставая, она зарекалась верить обещанному, прячась за простым и понятным бытовым. Лишь иногда грудным клекотом вырывался у нее короткий всхлип напополам со

смехом, так плачет чайка, упустившая добычу. Чаще всего это случалось, когда она слишком близко подходила к расписанному красными птицами сундуку, который был набит ярким и цветным. Сундук открывать было нельзя. Или когда она поднимала глаза на старые ходики, замершие не на пяти сорока, а чуть позже, всего на минуту. Или когда Великое Обещание возвращалось дневным эхом, слабым, но неожиданным, отбирающим дыхание. В такие моменты сердце ее привставало на цыпочки и смотрело поверх крупных белых с синевой рук, прижатых к груди: Аглай выходила на улицу и подолгу стояла на верхней ступеньке, подставляя ветру красные сеточки на белых щеках и неотрывно глядя куда-то в себя и поверх.

Кое-как, запинаясь, проходил день, за ним следующий, потом еще и еще. Все чаще она натыкалась на «птичий» сундук, все дольше смотрела вдаль, замерев на крыльце. Ветер успевал облепить снежной крупкой валенки, а она все стояла и стояла. Обещанное не сбывалось, хотя обещания и не отзывали: каждую ночь в утренний час, как Аглай ни пряталась под подушками, снова приходило, снова накатывало. И она верила. Раз за разом верила, что вот-вот, за рубежом рассвета, еще немного и...

Пока однажды Великое Обещание не пришло. Просто и обычно, без знамений и громких голосов в голове, Аглай лежала и смотрела в темный далекий потолок, не веря наступившей тишине. Поминутно переставая дышать, она внимательно проверяла, но все было так: над головой и в голове было пусто. Она робко повернулась на бок, подложила руку под голову и закрыла глаза. Через некоторое время легла на живот. Потом повернулась на другой бок и сбросила одеяло с ног. Сон все не шел.

Наконец Аглай встала и, не глядя в сторону поджавших губы святых на иконах, подошла к ведру с колодезной стылой водой и надолго, до ломоты в скулах, припала к ковшику. За окном белели нетронутые сугробы — до забора и дальше. В свете синего молодого месяца тени на них продавливались особенно глубоко, будто кто-то прорезал картину, писанную прямо по стеклу. Все было неподвижно и спокойно, вот только там, у забора, что-то ерзало, словно увязая в глубоком снегу.

Выпавший из руки ковшик глухо тукнул о воду, чуть плеснув из ведра на половицу. Аглай заполошно кинулась к печи, потом бросилась в сени, на бегу не попадая в рукав вязаного жакета. Оттуда, кое-как надев один валенок, она, зажав второй под мышкой и чистя пятками — одной обутой, другой босой, — вернулась к окну.

Все это время она причитала. Слова, придавленные молитвой, наконец вырвались наружу:

— Стеша, Стешенька, сейчас, подожди, я сейчас, мама сейчас.

У окна она умолкла и прижалась лбом к стеклу, прямо как в детстве. Стекло жгло холодом, но Аглай не отодвигалась. Тень под забором больше не ерзала. Уронив валенок, она отпрянула от окна, но тут же снова встрепенулась: там снова что-то толкнулось и опять замерло.

Аглай поводила головой в стороны, неотрывно глядя на тени. От ее движений забор рябил в неровном стекле. Она оттолкнулась руками от рамы и медленно, будто находясь на большой глубине, пошла к кровати. Лицо ее, давно отвыкшее от эмоций, словно окаменело. Слезы, бегущие из глаз, не оставляли мокрых дорожек. Не раздеваясь, как была в одном валенке, она упала в постель и отвернулась к стене.

Утром встала поздно, с отекшими глазами. Не было никаких сил делать что-то. Кое-как заставила себя подняться, умыть лицо. Потом уже стало чуть проще, будто кривошип выскочил из мертвой точки. Руки сами брались за веник, поясница сгибалась, ноги ходили. А на крыльце уже и не тянуло. Даже протерла пыль с сундука, но внутрь так и не заглянула.

Потом все-таки пришлось выйти из дома. Даже пройти мимо того места у забора. Нигде ничего не екало, просто глаза сами несколько раз косили в ту сторону. Нет, ничего не было, ни следочка: чистый белый снег, как бывает только утром в январе.

Но внутри все тянуло и тянуло, как тянет, когда зажмешь нос и пытаешься вдохнуть. Кое-как, хромая на каждое простое дело, Аглай дотянула до полудня и пошла в дом. На крыльце задержалась только для того, чтобы обмести с валенок снег, и, даже не взглянув на дальнюю линию леса, отперла дверь.

Дом, разогретый печкой, дохнул на нее непривычной спретой духотой с запахом влажной постели и древесины, чуть тронутой плесенью. Вместо этого, ожидаемого и привычного, лицо Аглай, расположованное ветром, ласково погладил теплый дух чего-то родного из далекого детства, чего-то яблочного и клеверного.

Она даже замерла на пороге, долго вдумчиво вдыхая этот запах, неведомо как оказавшийся тут, и стояла так долго, пока изморозь на бровях не растаяла и не потекла тонкими струйками по скулам. Только вволю надышавшись, она спохватилась, что выступает дом, и заспешила внутрь.

Здесь тоже пахло яблоками, даже мороз не смог прибить этот запах к полу. Она все смотрела по сторонам новыми, будто вымытыми глазами и никак не могла понять, что же не так. Кровать, грубый стол, стулья, сундук, красный угол, притихшая печь. И все же что-то...

Взгляд ее уперся в подоконник, и она больше не могла отвести его. Не разуваясь, она подошла к окну, потянулась рукой, осеклась, на ощупь, не оглядываясь назад, пододвинула стул и села, не отворачиваясь и почти не мигая. Так и сидела она, пока снежок таял. Сначала он, плотно слепленный, не поддавался теплу жилья, но медленно стал оплывать, уплотняясь внутри. Несколько капель, ложка чайная, ложка столовая, затем лужа, маленькое озерцо, стекшее в углубление посередине подоконника. Даже когда последний мутно-белый комочек пропал в воде, Аглай не вставала. Она не решилась утереть воду: так и легла в постель, оставив уже совсем крохотную лужицу досыхать саму.

Наутро выспавшаяся Аглай затеяла стирку. Не боясь, она доставала яркие детские вещи из сундука, большим куском земляничного мыла долго их мылила, пока небольшие носочки, в половину ее руки варежки, шапочка с помпоном не исчезали в белой пене. Затем тщательно ополаскивала, нежно отжимала и развшивала прямо в доме, пока сундук не опустел, а в комнате не захлестнуло химически чистой дистиллированной ягодой. Все это время тихая улыбка не сходила с Аглаиных тонких губ. И вторая ночь прошла в покое.

На следующий день, все так же улыбаясь, Аглай собрала все высохшее в сумку и медленно, будто боясь расплескать, ушла. Вернулась поздно, румяная и довольная, осторожно достала из сумки яблоко, кусок ягодного пирога на тонком тесте и совсем уже аккуратно крынку молока. Разложив все на столе, она долго с удовольствием на все смотрела, но съела лишь яблоко.

* * *

Поздней весной, когда сошли снега, Аглай в последний раз посмотрела на часы с неизменными 5:41, перекинула ту самую сумку через плечо и бесшумно ушла. Вымытый до скрипа дом тихо вздохнул вслед.

СЕРОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ

Семнадцатого ноября две тысячи десятого года мир умер. Умер весь и безвозвратно. ФИФА все так же выбирала будущую страну-хозяйку чемпионата две тысячи восемнадцатого года. Папа Бенедикт XVI призывал Пакистан освободить христианку, осужденную на смерть. На Мадагаскаре все-таки успешно завершился военный переворот, а рынок акций превысил отметку в полторы тыся-

чи тридцать по московской межбанковской бирже. Но все-таки мир умер, почти никто этого не заметил. Никто, кроме А.

Первыми сдались наушники. Не все наушники мира, не их идея, а конкретные наушники самого А. Раньше у него получалось повернуть провод так, чтобы хотя бы один, хотя бы в пол силы, но работал. Теперь на любом стердиане была даже не статика, а полная вакуумная тишина ушей. С тихим вздохом А. аккуратно стянул провода в плотный моток с торчащим разъемом «три с половиной» и двумя крошечными динамиками, предварительно сняв и протерев спиртом амбушюры, и выбросил их в мусорку. Повздыхав еще и попереглядывавшись с часами, А. решил, что отклонение минимально и можно все-таки куда-то идти. Уже обутым, с порога он в последний раз вздохнул на дорожку и, аккуратно ступая одними пятками на чистый пол, вернулся, достал черный клубок из ведра и сунул в карман.

На улице А. несколько раз попытался нащупать на вороте твердые капельки наушников и, не сдержавшись, снова вздохнул. Все это было неспроста. Голуби тоже почуяли неладное. Они не вяло кружковались, как обычно, а громко ворковали, кружились на месте, один даже лежал на спине и неистово колотил ногами воздух, будто торопился куда-то в своей системе координат. А. с трудом отвернулся от спешащей птицы и занес ногу с крыльца. Пора.

Количество шагов до перехода сегодня тоже не сошлось, и не сошлось весьма сильно. Раньше А. мог закрыть глаза на погрешность в два-три шага или даже позволить себе слабость и подбитый результат, нарочно шагая чуть шире или чуть уже. Но сегодня он выбился из нормы на двадцать семь, причем в большую сторону, а это было неприемлемо. Совесть бы не позволила ему делать последние шаги настолько большими.

Окончательно сбитый с толку, он спустился вниз, машинально считая ступеньки. Первый пролет, как и положено, выдал девятнадцать, а со вторым случилась полная ерунда. Двадцать две. На три больше нужного. Перескакивая через две ступени за раз и бормоча случайные числа, чтобы не считать про себя, А. поднялся и вновь спустился, но только до половины. Первый пролет — двадцать одна. Затем еще раз и еще. Двадцать. Восемнадцать. Двадцать две три раза подряд. Последний заход выдал совсем уж абсурдные тринадцать.

А. хотел было пойти на окончательный заход и смириться с непокорностью ступеней, но взгляд его зацепился за лампы в переходе. Да, их было нужное количество, даже в каждом коробе зияло по четыре штуки. Но ни один из блоков не горел.

А. замер. А. вспотел. А. побежал домой. Ритуал был испорчен. Теперь оставалось только повторить все с самого начала. У подъезда в спину ему издевательски улыбнулись лишние сорок два шага.

Он еще успел подумать, что сломанный голубь смог куда-то убежать, когда подъездная дверь железно дохнула ему в спину. На всякий случай А. не стал отчетливо считать ступеньки до клетки первого этажа, но с удовлетворением заметил, что их количество будто бы вполне устроило ноги. Значит, хотя бы здесь все было в порядке. И лифт был на правильном этаже — на четвертом, идеальном, ведь с нажатия на кнопку до открытия дверей можно было пропеть про себя «Одинокий остров» до припева. Если лифт оказывался на пятом, приходилось проигрывать еще часть вступления с мелизмами Леонида Николаевича, что, честно признаться, выходило у А. плохо даже про себя. Если же лифт ждал на третьем, этаже самого А., то петь нужно ускоренный ремикс, чего А. не переносил. Говорить о других этажах и не стоило: в этих случаях А. просто бездумно смотрел в стену, чувствуя отвращение к бугристой неровности краски и нерегулярности мазка неведомого маляра.

В лифте А. нажал кнопку 3 и приступил к припеву. Однако двери открылись сильно раньше «отшельницы любви». Настолько раньше, что «тонули корабли» А. пробормотал вслух в раздвигающиеся створки. А. не узнал своего этажа, да и по времени выходило так, будто он ехал не положенные два, а нелепые полтора. С опаской выглянув наружу, А. попытался разглядеть номера квартир у звонков, но не успел: двери стали закрываться. Втянувшись обратно, он зажмурился, одними губами дал очертания «Может, судьба тебе поможет» и вновь нажал на кнопку 3.

Лифт качнулся куда-то вбок и вверх, А. от неожиданности привалился к стенке с зеркалом и сделал то, чего в лифте делать было нельзя ни при каких обстоятельствах. А. посмотрел на свое отражение. Все было на своих местах. По ту сторону все еще был А. с его курткой в аккуратный продольный рубчик, синим воротником рубашки, чуть выглядывающим из-под куртки, и родным привычным затылком, обтянутым шапкой.

Подбородок А. затрясся мелкой дрожью, впрочем, затылку в отражении было все равно. Закусив щеку и глядя на язычок неровно срезанного шильдика, А. поторопился к концу припева, не решаясь, однако, пропускать слова, стоящие на своих местах. Ему повезло в первый раз за день — внутренний Агутин допел про любовный плен, и лифт остановился во второй раз, подумал и с ленцой распахнул створки.

А. кивком поздоровался со знакомой сколотой плиткой, подошел к своей двери, стукнул ключом выше и ниже замочной скважины ровно по два раза, отпер дверь, тщательно вытер ноги о коврик и наконец вошел.

Аккуратно разувшись в прихожей и поставив ботинки у левого края коврика, А., как был в куртке и шапке, прошел в ванную, трижды намылил руки и трижды смыл пену, вытерся полотенцем, затем уже на кухне взял салфетку из ровной стопки и тщательно промакнул остатки влаги. Скатав бумажный шарик, А. выкинул его в ведро и замер. С самого дна пустого пакета на него неприятным колючим блеском смотрела темнота. А. дважды глубоко вдохнул и выдохнул. А. посмотрел в скучное серое окно. А. натянул шапку на лоб и снова сдвинул на темя. Ошибки не было: в ведре лежали наушники, которые он достал оттуда своей рукой полчаса назад.

А. взял еще одну салфетку и снова с пристрастием, подолгу комкая в руке, просушил ладони. Второй бумажный шарик отскочил от дна ведра и лег на моток наушников, однако полностью укрыть его не смог.

И только теперь А. понял, что его подспудно смущало все это время. Запах. Здесь не пахло его жильем. Не было везде сопровождающего А. запаха ромашковых салфеток, ополаскивателя для рта, чуть влажных простыней (А. сильно потел во сне). Здесь не пахло его телом. Раскаленный гипс, сухая земля, свежий слом трухлявой коры и что-то еще непонятное, но абсолютно нежилое.

А. запрокинул голову и испуганно посмотрел на белый квадрат потолка. Текстура побелки была другой, гораздо мельче, почти гладкой, будто потолок был резиново-упругим.

Незнакомые сухоцветы на окне, ехидно скрипнувший от толчка ноги табурет, три конфорки на плите: мелочи как по команде ринулись к нему, и каждая кричала, что это чужой дом, абсолютно безвозвратно чужой дом. Но А. понимал, что не дом здесь был чужим.

Медленными шагами он вернулся в прихожую. Так и есть: на не его коврике стояли не его ботинки. Стараясь не раздражать злорадствующую квартиру, А. босиком вышел в чужой подъезд, спустился по чужой лестнице, вышел на чужую улицу и, не попадая ногами в собственные шаги, медленно побрел куда-то в сторону и вбок, сдвигаясь мимо улицы. Рядом так же бочком, исподволь, опустив глаза, скользили невнятные серые тени. Но что А. было до тех теней, ведь голубь был прав. Голубь сразу все понял.

Алена МЯКИНИНА

ПРИВЫКАЙ ОТПУСКАТЬ

СТИХИ



* * *

*Посвящается последнему из Мохо¹,
на любовный зов которого в 1987 году
уже некому было откликнуться...*

О чешуегорлый Мохо!
Последний из медососов!
Славнейший из славных, ибо
песнь одинокого сердца
сохранила магнитная пленка,
а после и вовсе цифра,
и теперь в сети необъятной
твоя копия, будто живая,
томясь, недоумевая,
зовет, и зовет, и плачет,
и просит, и обреченно
и медленно умирает.
И сладкие капли меда,
взбитые из прозрачных
до перламутровых бусин
вибратор любовной песни,
на клюве твоем застывают.
О, как печален твой выход
на авансцену жестокой
и равнодушной природы,
которая поглотила
всех, кто мог отзваться
крошечным сердцем птичьим
на этот призыв твой страстный.
О чешуегорлый Мохо!

¹ Чешуегорлый мохо (лат. *Moho braccatus*) — вымерший вид певчих птиц семейства гавайских медососов, эндемик острова Кауаи. (Прим. ред.)

Я не усну сегодня,
придумывая реальность,
в которой к тебе на ветку
села прекрасная Мохо
с лунным медом в очах и клюве.
Но поверь, что еще печальней
в этом мире песнь той крылатой,
чей возлюбленный жив и слышит,
но роняет цветы и перья
он на травы другого сада.

* * *

Хозяйственный вечерний променад
в грязи от гастронома до аптеки.
В сей мрачный путь просилась рифма «ад»,
но тут обрушился мне снег на веки.
Облизывал шершаво мне глаза
снег языками ветреных снежинок,
поскрипывали сладко тормоза
набухших от томления ботинок.
Узор подошв в одной из форм воды
и рядом — вероятностей стеченье —
собачьи беззащитные следы,
как формочки для выпечки печенья.
Явь отпечатков — грустный визави
дрожащий пес, с ним я. И мы — реальны...
А где-то там протекторы твои
ложатся в снег моим диаметрально.

* * *

Сермяжная правда сычужного сыра,
и чудное чудо меж чудью и чакли,
и Чарли, куда ж без него, коль он Чаплин,
и ономастический срез Очамчиры,
и вымя в подмышечной впадине сучье,
и чахлые чары чьего-то величья,
и, чур меня, райские щебеты птички,
в Вест-Индию путь Америго Веспуччи,

чело, чилить, лечо, личинка на личи,
какой только чуши в мозгов своих дольки
я не напихала, не помнить чтоб только,
что ты, мой желанный, ко мне безразличен.

* * *

Твое сердце царя и бродяги,
упрямое сердце,
прочь стремится от ложа царицы на срубе оливы.
Сколько раз ты бросался в объятья Цирцей, обреченный
забывать, предавать —
я давно уже сбилась со счета.
Сциллы ластятся суками, тащат в пучину Харибды —
я молчу, мои пальцы в окогах от пряжи суровой.
Женихи потным стадом томятся, пока ты кочуешь —
медом пчел итакийских намазано ложе царицы.
Перекормленный щедростью женской, задушенный
жадностью плоти,
с облегченьем покинешь ты очередную Калипсо.
Я молчу, я читаю Гомера, исход мне известен —
лук, двенадцать колец...
Возвращайся. Твоя Пенелопа.

* * *

Одна психологиня с печальными глазами рекомендовала
мыть посуду, когда боль нестерпима.
О боги психоанализа! Милосердие ваше безмерно!
Горячая вода, микрофибра, железка для сковородок,
ПАВ с ароматом алоэ!
Но мало, мало посуды для боли моей великой!
Где пиры Валтасара на сталинской даче с рулетиками
из баклажанов и мамалыгой с расплавленным сыром?
Где симпозиумы патрициев римских с жареными
гусями под соусом из язычков соловьевых?
А флот, что отплыл от Эллады — Елена Еленой, но есть же
надо мужчинам.
Длиннее списка кораблей — список котлов,
в которых козлы кипели, и список амфор, возможно,
их раньше просто не мыли...

Но я отмою, несите, бросайте в чан необъятный,
где пенится боль моя
вперемешку с плотью животных.
Трапезы прожорливого Людовика, четырнадцатого
по счету, — вот что мне нужно!
Здесь суп из каплунов, куропатки, поросыта в сморщеных
фруктах, варенье, паштет, яйца всмятку.
Прислуживать на тризне по Вещему Олегу, драить
деревянные плошки с присохшей кашей, орехами,
медом — это ли не спасенье!
Люди, ешьте, пейте! Несите посуду в жиру и остатках
пищи, топите в бездонном чане!

* * *

День сурка — это когда сурок
просыпается на рассвете в своей норе,
или в ложбинке, или там в лопухах —
кто их поймет этих сурков. Так вот.
Сурок просыпается, чешет рукою грудь,
молочные железы самки сурка не там,
где видеть привык человек человечью грудь.
И в общем-то дело совсем не в этом, а в том,
что действует в дне сурковом самка сурка.
Она просыпается, чешет рукою грудь —
для самых дотошных — чешет лапой живот.
Она справляется сурковым туалетом,
съедает огрызок яблока, его ржавь
кисло щекочет нежный язык сурка,
точнее, язык самки сурка. Так вот.
Она выбирается из спутанных трав,
она стоит посреди огромной Земли.
Ее овеивают Эвр, Нот и Зефир,
но пуще всех неистовствует Борей.
Самка стоит молча. Ее глаза
слезятся от ветра и от чего-то еще.
Она стоит молча вовсе не оттого,
что речь суркам Создателем не дана.
Она молчит оттого, что она ждет
того, кто без слов поймет молчанье ее.
Она стоит дотемна в небе, в душе
и вновь удаляется молча в ночь сурка.

* * *

Привыкай к одиночеству, здесь и сейчас,
На скамье остановки, сиденье маршрутки.
С каждым новым прослушанным тактом прелюдии,
фуги,
с каждым новым разгаданным словом в рецепте.
Если ты не правитель династии Цин,
твой распад наблюдать не опустят в могилу
восемь тысяч людей, пусть из глины, но подданных
верно.
Все, с кем ты делил пищу, жилище, постель,
твою смерть не разделят с тобой, а ты с ними.
Привыкай отпускать, начинай с похорон хомячка,
репетириуй смотреть и молчать уходящему в спину.
Привыкай отпускать, зарывая в планету того,
кто сумел отпустить из своей твою руку ребенка.
Привыкай к одиночеству — чаще читай, ешь один.
Отпускат, как во сне, когда в пропасть летишь, понимая,
что твой страх — только сон,
и паденье равно пробуждению.

* * *

Плыви ножками вверх, Ежик,
Рассекай колючками черную воду.
Печальный малютка, ну что мы можем?
Не соваться в реку, не зная броду.
Предварительно прыгнув, «гоп» молвить.
Сидеть на шестке сверчком осторожным.
Все лето в поту сани готовить.
Что в этом тумане мы можем, Ежик?
В изрытой корнями слепой чаще,
На этой земле, зыбкой и шаткой,
Вспоминать — «ищущий да обрящет»
И звать все тише: «Лошадка, Лошадка...»



Астан ТАМАЕВ

ТАЙНА В САКИРЕ

РАССКАЗ



Мои дети, Астемир и Зарина, собираются в первый класс. Я понимаю и осознаю свой страх, борюсь с ним, закрывая глаза и мечтая о счастливом детстве детей, но все же ситуация, произошедшая со мной пятнадцать лет назад, возвращает в тот ужас, какой я пережила в годы юности.

Астемир растет лояльным ребенком, податливым, чувствительным. Я смотрю на него и вижу в нем черты лица своего отца, только глаза сына излучают любовь и невинность, глаза же отца, напротив, отражали гнев и жестокость. К сожалению, он запомнился мне именно таким — свирепым и жестоким. Отец обходился со мной так, словно перед ним не родная дочь, а узурпатор, укравшая его власть. Ко мне не было никакого сострадания, только зверство и вцепившиеся в мои воспоминания слова: «Ты будешь следующая!» И в такое прошлое я возвращаюсь всегда, когда вижу глаза своего сына.

Глядя, как он заполняет свой рюкзак школьным инвентарем, я параллельно караю себя: ну за что ему досталась такая мать, вмиг впадающая в уныние, когда собственный сын обращается к ней. Я одновременно хочу прильнуть к нему, прижав как можно крепче к груди, чтобы наполнить его той любовью, которая действительно разгорается внутри меня к этому беззащитному и ни в чем не повинному созданию, и одновременно убежать как можно дальше, лишь бы вновь не видеть тот ужас, который воспоминаниями отражается в его глазах.

Испугавшись генетики отца, жертвой которой, как мне казалось, мог стать Астемир, я записала своего сына в образовательные центры, где ему доходчиво, невзначай, как это и должно происходить с детьми, объясняют, что с людьми нельзя поступать так, как поступал мой отец. На самом деле специалисты не подозревали, что именно сделал мой отец, да и обращаться с таким запросом было бы слишком опасно для Астемира, зная, что это

навлекло бы на него беду. Поэтому я рассказала им, что он, мой сын, как-то стал свидетелем насилия в семье. Это убедило их, и психотерапевты, широко улыбаясь, словно им подвластно решить любые проблемы, схватили меня за плечо и пообещали помочь. Мне была необходима сторонняя помощь. Пусть расскажет кто угодно, но не я — мать этого невинного ребенка. Я просто не смогу, глядя в эти глаза, увидеть ту новую жизнь, так робко волнующуюся в теле этого маленького мальчика, о которой мне постоянно говорит муж. Я увижу иную картину — искажение, которое будет все больше и больше призрачно сменяться на лицо отца.

Поэтому я забросила любые попытки бороться с тем, что беспокоило меня с каждым новым днем еще сильнее, причем выбирала наиболее радикальный метод: я бросила сына, хоть и жила с ним в одном доме. Бросила его так, как когда-то бросила собственного отца, убегая от ужаса прошлого.

Но сегодня вечером моя дочь Зарина в истерике ворвалась ко мне в комнату, обвиняя Астемира в том, что он пытался откусить ее палец. Она сказала, что брат не вынимал его изо рта и наслаждался ее болью, как какой-то дикий зверь. И это сравнение привела моя дочь, когда рассказывала о глазах Астемира, — они стали вертикальными, как у рептилий. Я была напугана, собрала вещи, схватила Зарину и потащилась вместе с ней в машину, попутно вытирая рукавом поток слез, который я не способна была остановить. Такое спонтанное решение мой муж назвал импульсивным и абсолютно нерациональным, сравнил меня с никудышной матерью и дал три дня на дальнейшее обдумывание действий, иначе я никогда больше не увижу сына.

На следующий день я, оставив дочь с няней, вернулась в дом к мужу, чтобы мы обсудили жизнь сына. Муж и так никогда не верил моему прошлому, пытаясь научным языком объяснить то, что я увидала пятнадцать лет назад, но сейчас его было не остановить: он называл меня дурой, чье воображение может испортить жизнь невинному ребенку. Я молчала, понимала, что его не переубедить, лишь изредка кивала, давая понять, что спорить я с ним не собираюсь. Когда он наконец успокоился, я встала и молча пошла в комнату к сыну.

Астемиру вот-вот исполнится девять лет. Бывают случаи, когда его действия не поддаются никакому объяснению, но он не единственный такой ребенок. Мне кажется, что каждый ребенок признает мир сквозь глупые поступки, анализ которых и делает из них, детей, осознанных личностей. Может, и этот садистический укус относится к такому инфантильному поступку, но рисковать, пеняя на то, что у дочери разыгралось воображение, а сын мой лишь познает мир, я не могла. Постучав в дверь, я, не дожидаясь

реакции, вошла в комнату, схватила сына и крепко прижала к себе.

Сегодня твоя мама расскажет, что с ней произошло в Сакире.

Часть первая

Сейчас я живу в мире, в котором вековые кавказские традиции еще прочно связаны с обществом. Астемир и Зарина чтят свою культуру, я лично возвращаю в них любовь к родине, потому что любить родину, землю, на которой ты живешь, важно хотя бы потому, что это безопасно для душевного состояния (в чем я сама убедилась). Не хочу, чтобы моя позиция выглядела как необходимость, а не как собственное желание, но я сама полюбила Кавказ, когда он спас меня от инцидента в Сакире. Углубляясь в подлинные традиции — настоящие и угодные цивилизации, а не определенным зверям, в числе которых был папа, я по-настоящему обрела дом, веру, свободу и безопасность.

И сейчас, сравнивая с пережитым прошлым, я точно могу сказать, что женщина в обществе ценится ровным счетом так же, как и мужчина. Правила и законы распространяются одинаково и на мужчин, и на женщин, причем не только на конституционном уровне, но и на социальном — не прописанном. Я спокойно могу выйти ночью, не боясь общественного осуждения, взглядов или куда хуже — порки. Я могу распоряжаться своей жизнью, своим выбором, подчиняться только самой себе, чувствуя свою значимость не только для семьи, но и для всего общества. И может, именно поэтому я и благодарна своему жестокому отцу, потому что его система воспитания женщин в нашей общине с каждым днем все больше и больше пробуждала во мне борьбу, которую я впоследствии трусливо сменила на побег.

Мой отец, имя которому в прошлом Георгий, был важным лицом в общине. Он как бы контролировал все наше отдалившееся от цивилизации общество, но вместе с тем занимал неофициальную позицию в Собрании. Он выступал с пламенной, как рассказывали люди, речью, после которой мужчины общины покидали Собрание воодушевленными, будто приближенными к Богу. Я гордилась им, хоть и была ребенком без внимания. Впрочем, та же участь — ребенок без родительского внимания — постигла и моего сына, так как я транслировала ровным счетом такое же отношение к нему, какое было у отца в отношении меня. Правда, Астемира не бьют и ему не читают нравоучения, что он не имеет такого права — разговаривать с отцом. Тогда, будучи пят-

надцатилетним ребенком, я сама верила, что так должно быть в любой семье. Нас воспитывали покорными, удобными, терпеливыми и хозяйственными. Мы, женщины, будто были товаром на рынке, обслугой для мужчины, и наша функция заключалась лишь в облагораживании устоев общины.

Я служила отцу. Служила, любила и порой недоумевала, почему мой папа постоянно покидал комнату, как только я, будучи еще ребенком, в нее входила. Его лицо приобретало хмурый вид, усы и брови уже одной мимикой выражали недовольство. Я пыталась разговаривать с ним, но безрезультатно: стоило сказать слово, как он вставал и уходил в другую комнату, громко хлопая дверью. Ко мне тут же подбегали женщины в доме и в суете уносили обратно в спальню, боясь вновь встревожить моего отца. Мне, как и другим женщинам, было запрещено читать книги и писать. Даже для рисования мне никогда не давали бумагу — разве что испорченный кусок обоев, из которого я изловчилась соорудить лебедя.

И после каждой неудачной попытки завести диалог с отцом я брала в руки своего бумажного лебедя, чтобы хоть как-то успокоить себя после наплыва суетливых женщин, которые хором брали меня за какое-то непонятное мне тогда непослушание.

Зарема, главная настоятельница женщин в общине, которая единственная имела право присутствовать на мужских Собраниях, утром, после повторяющихся инцидентов с отцом, подзывала меня и читала одно и то же наставление, написанное коряным почерком в желтом дневнике: «Женщина, будь она хоть дочерью, не должна обращаться к мужчине, развивая тем самым свою речь». Я не знала некоторых слов, лишь понимала посып, однако наслаждалась речью Заремы, восхищалась ее крепкой женской рукой, которая умела писать; восхищалась ее хмурым видом, напоминавшим мне отца. Стоя перед ней, я даже воображала, что все это говорит мне папа, а не старая женщина, ненавидящая других женщин так же сильно, как и мой отец.

Чтобы иметь хоть малейшее понимание о картине, происходившей в Сакире шестнадцать лет назад, я должна рассказать о маме. Саида — так ее звали — училась на религиоведа в одном университете с отцом. Первый курс она успешно окончила, что и послужило их знакомству, так как папа тоже был в ряду лучших учеников, но уже на своем курсе, на третьем. Их вызвали на всероссийскую конференцию представителей разных конфессий, где отец, собственно, и убедил маму уверовать в будущий строй, какой намечался в нашем маленьком на тот момент селе — Сакире. Папа вскружил ей голову Божими планами, но для их реализации была необходима женщина, твердо убежденная в том, что

вера отца — истина, действительно ниспосланная ему с небес. Вскоре отец стал проводить Собрания. Сперва на них присутствовали несчастные люди, которых легко было убедить в персональной справедливости, если они вступят в sectu. Горем убитые женщины и мужчины, бездомные и заблудшие люди — пapa согревал их сердца надеждой о лучшей жизни, праведной и благочестивой. Все свои сбережения он отдавал несчастным, чтобы те, в свою очередь, были полезны ему. Весть о Собраниях разлетелась по всему Кавказу, и вскоре несчастные поселились рядом с домом отца, заполонив со временем всю улицу.

Пapa и мама обдумывали следующий шаг, чтобы расширить границы своей веры. Они отделились уже от всего привычного на Кавказе, а отделяла их не стена, или полицейские, или решетка с пиками, а страх соседних республик, а в особенности властей, быть проклятыми самим Богом. Кавказ — многоконфессиональная территория, где с Богом никто не шутит. Понимая это и пустив в ход свои знания по истории религий, моим родителям удалось убедить остальных лидеров не вмешиваться в наши дела. И расширяясь дальше по всему Кавказу, заполонив уже весомую для правления территорию, пapa установил политический союз, который гарантировал полную защиту Сакире. В этом ему и помогла мама.

Мама стала наставницей моего отца, привела его к власти, к авторитету. Она твердила, что именно он, словно мессия, способен привести мир к истинной религии. На конференциях с лидерами Кавказа Саида впадала в состояние транса, когда мой отец читал проповедь, а после поднимала рукав своего платья и всему залу в состоянии агонии показывала выцарапанную букву Г, называя это стигматами. Подобный спектакль пугал толпу и в то же время убеждал, что силы отца способны направить в дом каждого Божью кару. Несколько таких махинаций — и вот мой отец обрел почетное место в ряду тех, чье влияние распространилось на весь мир. Отец стал заложником собственного господства, он огордил нас, верующих, бетонной стеной и приказал кавказским лидерам сохранять позиции на своей территории, апеллируя тем, что так хочет Бог. Благодаря папиным последователям у нас был свой собственный мир, подчиняющийся отцу и его писаниям, и была защита, так как стена была окольцована не только заснеженными горами, но и соседними республиками, готовыми пойти в наступление по одному лишь зову сына Божьего — моего отца.

Но вмиг все поменялось, когда Саида на выезде с отцом во Владикавказ, где двум делегациям нужно было обсудить дальнейший план сотрудничества, позволявший разным религиозным общинам существовать на одной территории, увидела группу людей,

выкрикивающих на площади откровенные лозунги о женской эмансипации. В ее дневнике она так и написала: «Я ломала голову над этим словом, пока женщина из этой группы сама не навела меня на смысл этого слова, назвав меня удобной для чужих желаний, но не для своих. Тогда я и спросила себя, в чем заключается мое желание». Как я поняла по ее записям, мама ударилась в культуру Кавказа, изучала образ женщины в религии через призму феминизма, откуда почерпнула идею, что женщина тоже может быть духовным представителем, личностью, способной на равных с мужчиной нести слово Божье.

Но отец взгляды матери не принял. Сама идея читать свою же проповедь с женщиной, которой, как и другим женщинам, было запрещено присутствовать на Собрании, могла привести к краху идеалы Сакиры. Мать разочаровалась в отце. Ради него она готова была участвовать в спектакле, демонстрируя свои исцарапанные руки, притворялась счастливой, обезумевшей, кому был послан божий свет, зажарованной властью мужа и несказанно благодарной ему и его проповедям. И чем больше она читала литературу о женской власти, которую ей тайно, всегда в шестом мешке пшеницы по закупному списку, отправляла подруга из той группы феминисток, тем чаще мама стала вынашивать идею о новой революции, которая привела бы и женщин к высоким позициям в Сакире.

Сторонников новой революции было немного, но среди них оказался папин брат Ахсар. Он был посредником между двумя миров, он контролировал доставку грузов в общину, в том числе и мешки с пшеницей, в которых и провозили книги для матери. У него был доступ к любой информации, к любой технике, к любому союзу, который мог бы поспособствовать революции, одержать победу над неравенством в общине, но моя мать допустила ошибку, которая в истории всех революций часто приводила к поражению — она влюбилась. Влюбилась в мужчину, который обращался к ней с таким же почтением, с каким обычно обращаются к авторитетам Сакиры. Вместе с Ахсаром она мечтала об общине, где власть принадлежала бы женщине.

Жизнь мамы втайне от всех была наполнена феминистскими книгами от известных авторов, среди которых Элена Ферранте, Наоми Вульф, Маргарет Этвуд, Мэри Бирд. В дневнике мама отмечала, что власть в руках женщины лишь в редком случае имела историческое подтверждение, но ничем глобальным, особенно сравнивая с мужчинами у власти, их правление не заканчивалось. По ее мнению, лучше пусть будет стабильное ничего, чем регулярные потери живых людей и жестокая власть, пугающая женщин и детей.

Но ее революционный дух улетучивался, когда она виделась с Ахсаром. Он был способен украсть все ее планы, лишив любую ее идею грамотной стратегии. Она отстранилась от революции, отстранилась от собственной библиотеки. Отстранилась от отца, власть над которым полностью исчезла. Поэтому мать, чтобы не обезуметь окончательно, втайне виделась с единственным человеком, рядом с которым она вмиг обретала ту жизнь, о которой раньше грезила.

Отец ни о чем не догадывался. Казалось, что жизнь без жены была ему только на руку. Он избегал ее до того момента, пока не решил, что ему нужен наследник. Папа потребовал от матери родить сына. В ложе с отцом Саида постоянно извивалась, чтобы не дать ему закончить дело. Ее душил страх, что будущий ребенок будет расти в таких условиях. Как она ни противилась, но спустя несколько недель первые признаки беременности все же дали о себе знать.

Папа был нескованно рад, он, как и другие отцы общины, свято верил, что из чрева матери повитухи достанут мальчика и назовут его важным членом общины, достойным преемником отца. Но смятение повитух озадачило отца, он догадался, что вместо достойного сына Собрания ему всунут в руки покорную девочку, чей главный порок заключался в бесконечном любопытстве.

Я была плаксивым ребенком. Мой визг постоянно беспокоил сон отца и рушил брак родителей. Папа хмурился и требовал от матери заниматься мной, контролировать каждый шаг, он патологически не выносил детского плача, казалось, ему неприятен был сам факт моего существования. Мама, уже прекратившая какие-либо попытки изменить роль женщины в общине, боялась за мое будущее, но все же выполняла его требования и всячески бранила меня, пока папа находился в доме.

В период празднования Манифистики — праздник в честь авторитетов, в числе которых был и мой отец — были выдвинуты новые правила, которые, как считали члены Собрания, согласуются с писанием в Бариосте — наша священная книга, доступ к которой был только у мужчин. Кто автор — предполагаю, что сам папа — и в чем заключался священный посыл, неизвестно. Этим фактом он и пытался манипулировать, словно все самое важное и святое не имеет авторства, а находится в ореоле магии, небесного чуда. Папа рассказывал, что нашел эту книгу в горах, в святом месте, и этого было достаточно, чтобы мужчины, вечно обеспокоенные значением Кавказа в мире, обрели стальную веру в то, что именно им и Кавказу удалось притронуться к истине, сошедшей с небес. Следуя заповедям этой книги, папа и остальные члены Собрания решили в этот праздник «наградить» женщин — лишить их возможности читать и

писать. Узнав об этом, мама обезумела и передала свои записи Ахсару, потребовав, чтобы он, ее истинная любовь, отдал дневник мне, когда ситуация в общине станет штакой. Она попрощалась с ним и поспешила в комнату, где она прятала свою феминистскую литературу. Собрав все книги в мешок, она, с трудом волоча их по полу, явилась на Собрание, где и устроила свой первый и последний революционный перформанс.

Сначала преподобный Сармат — один из авторитетов нашей общины — хотел по-хорошему отправить ее за дверь, посчитав, что Саида слегка не в себе, но он ужаснулся, когда мать достала нож и приказала отойти. Со слов Ахсара, который, как я поняла, продолжил вести дневник матери, папа готов был прилюдно растерзать свою жену, когда она подошла к нему и бросила на трибуну феминистские книги. Увидев название книг, папа приготовился влепить ей пощечину, но мать остановила его. Она повернулась к недоумевающим зрителям и назвала их кучкой неуверенных в себе мужчин. И когда они, мужчины, в ярости повскакивали со своих мест, чтобы прервать это выступление и, наверное, растерзать мою мать, она вытащила из кармана спичку, чиркнула ею по терке и бросила на длинный подол своей юбки, которую заранее облила керосином. Она стояла неподвижно, гордо расправив плечи и ожидая собственного конца, который никак не наступал. Казалось, огонь не способен был одолеть безумие этой несчастной женщины. Тогда отец схватил книги Саиды и бросил их в еще живое тело жены, чтобы вновь спровоцировать пламя, которое теперь точно заберет ее жизнь. Мужчины стояли и аплодировали моему отцу, посчитав его действие истинным служением Богу. Мама, к несчастью, своим протестом лишь укрепила позиции отца в Сакире.

Члены Собрания были так оскорблены, что по инициативе моего отца посчитали необходимым ужесточить санкции в отношении женщин. С того дня женщинам было запрещено почти все, даже воспитание своих детей, особенно если у них родилась дочь. Так и появилась Зарема, контролирующая каждую из нас, чтобы подобных «выступлений» больше не было.

Хоть у меня и не было матери, я все же не чувствовала себя обделенной девочкой, какими были остальные дети в Сакире. Меня, наказанную Богом любопытством, лишь беспокоил отец, он никогда не замечал собственную дочь. Мне было интересно, чем он целыми днями занимается, любит ли он меня так, как должен любить отец ребенка — несмотря на ужесточенные взгляды нашей общины, я все же видела, как отцы поддавались очарованию своих детей. Они, подчиняясь своим чувствам, обнимали своих детей — в основном мальчиков, но и девочкам подмигивали и

улыбались, оправдывая свой жест тем, что дети еще не в состоянии понимать разделение полов.

А я все поняла сразу, потому что на своем хрупком теле, на своих эмоциях ощущала различие между нами. Уже тогда во мне укрепилось убеждение, что, будь у моего отца сын, ситуация была бы другая. Как только мое тело начало приобретать женские очертания, я все глубже впадала в самоистязание. Мне была противна моя грудь, мои бедра, длинные черные волосы и узкая талия, которую тую, словно назло, чтобы она была выражена еще сильней, обтягивали белым бантом. Такому дресс-коду были подчинены все женщины.

Утром, когда меня в очередной раз одевали перед выходом, вновь тую перетягивая ребра этим ненавистным бантом, я, возмущившись, обратилась к Зареме:

— Почему мы не можем выходить в сарафанах? Мальчики гуляют как им угодно, а мы должны перетягивать друг друга и ходить так по грязным, изуродованным ямами и камнями дорогам?

— Скажи спасибо, что от тебя не требуется делать то, что делают остальные женщины в Сакире, — ответила она и еще сильнее перетянула бант, тем самым дав понять, чтобы я больше подобные вопросы не задавала.

Ответ Заремы меня разозлил. Я, может, и была ограничена в своих правах, хотя тогда этого и не замечала, а лишь вопила на весь дом из-за тугого банта, но точно не считала себя привилегированной. Девочки каждый день занимались хозяйством, это всяко лучше, чем быть в доме привидением, которое даже собственный отец не замечает. Мне был неприятен ответ Заремы, поэтому я решила приумножить свои страдания.

— На других хотя бы отцы смотрят...

Зарема закричала на весь дом:

— Сколько раз тебе было сказано, чтобы ты прекратила говорить о своем отце?! — Она вдруг прижала ладонь к губам и испуганно на меня взглянула. Дверь комнаты была приоткрыта, она подбежала к ней, осмотрела коридор, есть ли там кто, тихо затворила дверь и продолжила, сменив громкий вопль на шепот. — Твой отец важный человек. Не хватало еще, чтобы маленькая девочка затуманила своими глупыми разговорами его бесценный разум!

— Я тоже хочу иметь бесценный мозг! — резко выпалила я, глядя на свое ненавистное одеяние сверху вниз.

— Глупая ты, — усмехнулась Зарема. — Думаешь, ты одна такая, особенная? Все мы в твоем возрасте хотели быть особенными, но становились другими. И в этом есть наше предназначение. Понимаешь, это Бог, а не мы.

— Но почему Бог не дал нам другое предназначение? Почему мы не можем придумывать правила и не надевать этот бант? У меня после него остаются следы, которые никак не сходят. От этого наша любовь к Богу как-то уменьшится?

— Нет, наша не уменьшится, а вот его любовь к нам испарится. Он через твоего отца и других мужчин Собрания рассказывает, как мы должны быть благодарны ему, чтобы он взамен был благодарен нам.

— То есть нам нужно страдать, чтобы он был убежден в нашей любви к нему? — спросила я.

— Ты не знаешь, что такое страдания. Ты ничего в этом не понимаешь...

После разговора с Заремой я пыталась выяснить, что она имела в виду, говоря о страданиях. Если я печалюсь из-за одиночества и болей в области ребер, то через что проходят люди, когда страдают по-настоящему? В момент этих раздумий в моих фантазиях вспыхивал светлый образ нашего Бога, который отсекает конечности людям, не соблюдающим его правила, — это, наверное, и есть настоящее страдание. Далее я фантазировала, каким был бы Бог отцом. Он точно так же, как и остальные мужчины общин, махнул бы рукой на свою дочь? И почему мы, женщины, не можем этого узнать? Вдруг среди мужчин есть тайный заговор, обманывающий нас, женщин, чтобы они, мужчины, не чистили картошку и не купали собственных детей в мутной воде. В ту ночь я сама подвела себя к сомнениям. Иллюзия лжи вокруг мужчин греала меня. Я представляла, как переоденусь в мужчину и приду на Собрание. Сниму этот чертов бант, надену удобные брюки с пиджаком и сяду где-нибудь сяди, чтобы не вызывать подозрений. И когда Совет начнет обсуждать обязанности женщин, выделив им перечень самых сложных заданий, я вскочу и крикну: «Вы все пойманы, мужчины!» Я мечтала об этом и тихо в комнате хихикала от собственной наивности.

Часть вторая

Ночью мне приснился кошмар, в котором мой отец извинялся передо мной за какое-то проклятие. Его лицо было ободранным, а под этими ссадинами блестела другая кожа, похожая на рыбью чешую. Он смотрел на меня и в агонии кричал: «Мы все потеряли!» А я наблюдала за полыхающим огнем позади него, который медленно, но уверенно поглощал все вокруг, неумолимо приближая нас к смерти.

— Тамара, вставай! Надо уходить!

Меня разбудила Зарема. Она забежала в комнату, снося все на пути. Я проснулась с резкой болью в голове, было ощущение, будто я разбилась о камень, а череп разломило надвое. К тому же взволнованный и озадаченный вид Заремы меня напугал. Я подумала, что умер мой папа.

— Мы переезжаем в дом Преподобного Сармата, в нашем завелись крысы! — возмущалась Зарема, задыхаясь от суеты, которую сама же и разносила.

Я недовольно уставилась на Зарему, не понимая, что происходит. Вид у нее был напуганный — взъерошенные, вместо обычного строго собранного пучка, волосы и мятая ночнушка, поверх которой она надела старую изношенную шаль. Эта женщина не могла бояться крыс, она не из тех, кто чего-то боится, тем более мелких созданий, которых и до этой вести в нашем доме было полно. Что-то неуловимое в ее лице навело меня на мысль, что причина кроется в ином.

— Как мы можем? Ладно папа, но нам туда нельзя. — Я вновь взглянула на Зарему, чтобы убедиться, получилось ли у меня вывести ее на чистую воду. — Там ведь зал Собрания.

Зарема зашторила окна и в гневе схватила меня за плечи, чтобы силой поднять на ноги.

— Мне можно, ты забыла? Кроме того, твой отец сказал, что, если надо будет, я могу влепить тебе оплеуху, чтобы ты перестала испытывать меня своими вопросами! — Зарема собралась было замахнуться, но увидев, как я вжалась голову в плечи, сжалась и добавила: — Лошади уже ждут на улице, твой папа будет позже. Пять минут, и мы спускаемся, возьми все самое необходимое, иначе вылетишь отсюда без майки и трусов!

Я открыла шкаф и вновь погрузилась в уныние. Опять это бесформенное платье с белым бантом. Из ценного, казалось, в моей комнате была разве что заплесневелая кость абрикоса, потому что эти скучные тряпки даже на пригоршню зерен для цыпленка не обменяешь. Я быстро накинула на себя платье, а бант скомкала и бросила в мешок. Затем побежала к кроватке и осторожно сложила своего бумажного лебедя, чтобы по дороге он не помялся. Бумага для меня была ценным приобретением. Ее использовали только по назначению, а женщинам, как я уже сказала выше, это назначение было запрещено, к тому же мы все равно не умели читать и писать.

Когда я волочила по лестнице свой мешок, в котором уместились еще две пары обуви и мокрая от пота подушка — а вспотела я из-за приснившегося кошмарса, — я услышала, как на кухне мой отец разговаривает с каким-то почтенным и нарядно одетым мужчиной. Я притворилась, что разглядываю картину на стене, на

которой был изображен наш же дом, и внимательно стала подслушивать их разговор.

— Эти неверные крысы что-то узнали о нас и рассказали соседним республикам. Что именно они рассказали, мы не знаем, однако Ахсар утверждает, что СМИ все больше и больше уделяют нам внимание. Боюсь, они послали к нам крыс, — сказал незнакомец.

— Ты же знаешь, что на Собрании бывают одни и те же лица, — спокойно ответил мой отец.

Незнакомец фыркнул и подошел к окну.

— Где твоя дочь? — спросил незнакомец.

Отец направился было к лестнице, чтобы найти меня, как я тут же вспыхах пробежала мимо него, словно все это время только и была занята тем, чтобы как можно быстрее собрать вещи и выбежать из этого дома. Он успел схватить меня за руку и сказал, чтобы я так не торопилась. «Девочкам не подобает вести себя как мальчики». Я покорно кивнула ему, отышалась и медленным шагом пошла к выходу. Затылком я почувствовала на себе его недоверчивый взгляд. Он не верил мне, но я понимала, что ему не в чем упрекнуть меня. Ведь мне, женщине, дела Собрания не могут быть известны.

На улице меня ждала Зарема. Она то и дело повторяла, что грядет хаос и разруха. Смотрела вдаль, словно в последний раз наслаждалась нашими кавказскими просторами, и вытирала шалью слезы. А я стояла напротив и не понимала, почему эта сильная женщина так переживает из-за крыс. Эта неразбериха выводила меня из себя. Когда мы сели в карету и отправились к Преподобному, я стала наблюдать за Заремой, чтобы понять, что происходит. Она, словно в бреду, бормотала себе что-то под нос сквозь рыдания, а я пыталась разобрать хоть слово из этого неиссякаемого потока звуков. Мне казалось, что сила, некогда исходившая от этой женщины, иссякла и передо мной сидела уже дряхлая старушка, доживающая последние дни своей жизни. Она была строгой женщиной, но единственным человеком, которая разговаривала со мной. Подумать только, я себя не ощущала одинокой только потому, что со мной разговаривала старая женщина...

Когда мы приехали к Преподобному Сармату, нас у крыльца большого дома встретила его дочь. Дзерасса была миниатюрной двенадцатилетней девочкой. Я видела ее всего несколько раз, но меня уже тогда поразило, как она выделяется на фоне остальных детей. Она могла спокойно разговаривать с отцом, зная, что мы в речи с мужчинами ограничены. И я ни разу не видела, чтобы Преподобный как-то упрекнул ее, например дернув за рукав платья или влепив оплеуху. Он отвечал ей взаимностью и охотно разго-

варивал с дочерью. Я думала, как у нее это получается, прилюдно нарушать правила, которые придумал мой папа. В глубине души я мечтала наказать ее: подойти и плонуть в лицо, опозорить на глазах мужчин, чтобы впредь она не обесценивала честь и авторитет моего отца, однако сейчас, уже являясь взрослым человеком, я осознаю, что это было не что иное, как детская зависть.

— Тамара и глубокоуважаемая нами, женщинами, Зарема, мы рады приветствовать вас в доме Преподобного! — с почтением обратилась к нам Дзерасса, не дожидаясь, пока мы выйдем из кареты.

Зарема вцепилась в поручень, боясь упасть, и первая решила выскоичить из тесной кареты, чтобы наконец насладиться свежим горным воздухом. Как только ее нога коснулась земли, она отпустила поручень и провалилась по колено в грязь. Я пыталась не расхохотаться, но меня спасла Дзерасса, которая громко рассмеялась. Она скрючилась от смеха и показывала пальцем на обозленную Зарему, периодически поглядывая на меня и выказывая поддержку.

— Ну все! Я сказала, хватит! Иначе каждая получит ремня от отца! — пригрозила Зарема.

Мы в ту же секунду прекратили смеяться. Зарема была терпеливой наставницей, но невоспитанные девочки выводили ее из себя.

— Зарема, в моем доме вы в первую очередь гость. Я ценю ваше присутствие, но не позволю угрожать мне, — совершенно бездушно, разве что с легкой ухмылкой, ответила Дзерасса.

Я опешила, разинув рот так широко, что туда залетел комар, мутивший нас всю дорогу своим писком в карете. Нас обеих искусно заткнули, дав понять, что отныне, проживая тут, мы должны плясать под дудку невоспитанной девочки, которую законы Сакиры обожали стороной. Я все еще не понимала, восхищаться ею или держаться подальше. У меня тоже были привилегии, как и у любой девочки, чей отец может посещать Собрание, и эти привилегии помогли мне развить в себе рациональность, критическое мышление, я научилась манипулировать людьми, используя свою негласную власть над подданными, но я пала духом, когда увидела маленькую девочку, чей ум превосходил мой. Она была такой же, как и мужья в доме, — уверенной, гордой, веселой и, если надо — ситуация с Заремой тому пример, — Дзерасса могла осечь любого, кто покусится на ту малую часть свободы, которую она имела. Я вновь разозлилась на отца, который не воспитал меня так же.

У двери неожиданно появился Преподобный Сармат.

— Дзерасса, не груби Зареме. Ты не знаешь, кто она такая? — заступился Преподобный.

— Папа, я знаю, но... — Дзерасса хотела продолжить, но ее перебила Зарема.

— Девочки, перед вами Преподобный! — сказала она, повернувшись ко мне, и приказала выйти из кареты и склонить перед ним голову.

Я, находясь под впечатлением от увиденного, не сразу подчинилась. Мне хотелось противостоять Преподобному, дать понять, что если его дочь не уважает моих подданных, несмотря на высокую должность Заремы, то и я не собираюсь млечь перед властью ее отца. Однако я все же поймала себя на мысли, что это сейчас совершенно ни к чему.

Я аккуратно спустилась, чтобы не угодить в грязь, как это случилось с Заремой, поправила платье и склонила голову перед Преподобным. Он улыбнулся и дружелюбно позвал нас в свой огромный дом, в котором и находилось само Собрание. Первая половина дома, как я поняла, — это покой Преподобного и Дзерассы, а вторая половина, занимающая весь задний двор, — Собрание. Вход сюда был огражден длинным забором.

Я даже представить не могла, что люди могут так жить. Переступив порог дома, я была ослеплена лучами солнца, разноцветно проникающими из витражных окон. Я впервые видела стеллажи, которые были заполнены не только самым необходимым для проживания, но и декоративными статуэтками, вазами с сухоцветами, книгами, которых, казалось бы, здесь быть не должно, коллекционной посудой, которая характеризовала хозяина дома как заложника хобби, что запрещено в Сакире. Надо мной с потолка свисала невиданной красоты хрустальная люстра, которая была в три раза больше меня. Я чувствовала себя абсолютно раздавленной всем этим великолепием. Преподобный Сармат, заметив мое смущение, решил немного приободрить меня, что еще больше, чем размеры этого дома, меня удивило.

— Тебе не обязательно опускать голову. Твой отец многое сделал для нас. — Он схватил меня за плечо и продолжил: — Если бы не он, мы бы не жили в таком доме и не имели милость Бога, который нам предоставил это жилье.

Я ничего не ответила, испугавшись, что Зарема расскажет отцу о том, что я разговаривала с самим Преподобным. Я предпочла держать язык за зубами, а на все его речи послушно кивала, прикидываясь покорной и смущенной девочкой.

— Послушай, — он выдохнул и сменил тон на более раздражительный. — Я знаю, что тебе не разрешают разговаривать с мужчинами, но я — Преподобный. В этой части дома я — мужчина, но в стенах Собрания...

— Но это не Собрание, — я быстро закрыла рот ладонью и испуганно взглянула на Преподобного.

— Это не Собрание, ты права, однако дом все еще святой, и освящает его примыкающее к зданию Собрание. Здесь я не мужчина, а посредник Бога, который должен доносить учение и до женщин тоже. Не всегда же этим заниматься Зареме.

Я все еще предпочитала молчать. Он убедил меня, однако привычка плотно укоренилась в образ жизни. Прощаться с такой привычкой я пока не была готова.

Когда мы обошли весь первый этаж и я уже начала зевать от переутомления, Дзерасса попросила отца оставить нас. Преподобный Сармат направился в сторону зала Собрания, а мы с Дзерассой отправились в ее комнату, где она показала мне свою коллекцию кукол. Первую куклу я гладила без остановки, зачарованно глядя на нее как на магический артефакт. Она мне так понравилась, что я начала верить, что кукла — живой ребенок в руках моих, а не бездушная игрушка. Остальные игрушки, поток которых был нескончаем, не произвели на меня такого впечатления, так как все свои эмоции, в том числе и сдерживаемую агрессию, причиной которой была зависть, я прочувствовала еще в тот момент, когда Дзерасса показала мне первую куклу.

Я хотела быть дочерью Преподобного. Хотела жить в этом доме, играть с куклами, спать в такой же кровати и иметь большой шкаф модных платьев, а не только этот черный балахон с белым бантиком. Чем больше я погружалась в жизнь Дзерассы, тем больше не навидела отца, который прятал от меня эту жизнь. И ладно, если бы между нашими семьями была разница, но нас объединял все тот же Бог — один-единственный, в которого одинаково верили наши отцы, но который так по-разному направлял их в этой жизни.

— Пойдем наверх, я покажу тебе комнату, в которой ты будешь ночевать, — предложила мне Дзерасса. Она схватила меня за руку и потащила на чердак.

Мы поднялись на последний этаж дома. Дзерасса поведала мне, что раньше тут была кладовая, в которой пылились ненужные вещи. Сначала меня оскорбила мысль, что я буду такой же пыльной и ненужной вещью в этом доме, но Дзерасса, словно прочитав мои мысли, тут же добавила, что комнату подготовили к моему приезду: протерли пыль, весь хлам отправили в сарай, привинтили новую кровать, обновили белье и необходимые вещи для личной гигиены. Этого уже было достаточно, чтобы я чувствовала себя комфортнее, чем в своей комнате дома.

На чердаке было достаточно светло благодаря незашторенному окну, которое было слегка испачкано голубиным пометом,

что, впрочем, меня никак не раздражало. Я была безумно рада огромному зеркалу, которое отражало меня в полный рост. Мы с Дзерассой принялись себя разглядывать, и я ужаснулась, насколько плохо я выглядела на фоне этой двенадцатилетней девочки. Словно я олицетворяла другой мир — полный хаоса, грусти и бедности, а она, напротив, — мир изобилия, любви и спокойствия. Но Дзеру этот контраст ничуть не смутил. Она посмотрела на меня счастливыми глазами и, крепко прижав к себе, нарекла своей лучшей подругой. Мысль о том, что я «застяла» в этом доме с ее игрушками, прислугой и королевским ужином грела меня. Я словно получила новую жизнь в награду за страдания в прошлой жизни.

В первую ночь меня тревожили звуки, доносившиеся, казалось, из-за зеркала в моей комнате. Оно было плотно прикручено к стене, поэтому все мои попытки передвинуть зеркало, чтобы найти источник звука, не увенчались успехом.

Прошла неделя, а мой отец ни разу не навестил меня. Его функции, но только в положительном ключе, выполнял Преподобный Сармат. Сначала на все его слова, обращенные ко мне, в ответ я только кивала, но потом пересилила себя и научилась равнодушно, не вкладывая абсолютно никаких эмоций, отвечать на его дежурные вопросы о моем настроении.

В разговоре с Дзерассой, напротив, я не умолкала. Я рассказала о своем доме и об отце, немного приукрасив его роль в своей жизни. Конечно, Дзера соблюдала дистанцию, не высказывая своего мнения, но я видела на ее лице выражение сострадания, да и рука, крепко сжимающая мою руку в порыве откровений, убедительнее всяких слов выражала ее истинные чувства.

Я уже поймала себя на мысли, что мой папа пристроил меня в эту семью, чтобы навсегда избавиться, чему я, признаться, была очень рада. Зарема постоянно дремала, лишь изредка отвлекаясь на меня. Она перестала принимать какое-либо участие в моем воспитании, потому что Преподобный ее методы пресекал, считая их варварством. Зарема постоянно чего-то боялась, а я ее не понимала: почему ты боишься жить в безопасности, мечтая вернуться в серую, уничижающую женщин и детей жизнь. Возможно, предполагала я, Зарема считала дом Преподобного безбожным, однако у нее все еще было Собрание, которое длилось, по моим подсчетам, примерно три часа. Три часа счастья для вечно угрюмой женщины было достаточно, чтобы она окончательно не сошла с ума от нашей новой «порочной» жизни.

В новой жизни было все замечательно, за исключением моей спальни в доме Преподобного, а точнее, странных неумолкающих

звуков, исходивших от зеркала в моей комнате, которые поначалу меня не на шутку раздражали. Звуки эти имели какой-то музикальный мотив, как выяснился позже. Однако спустя девять дней я все же привыкла к ним, воспринимая их как свою колыбельную. Ничего подобного мне не доводилось раньше слышать, но даже такому сюрпризу нашлось место в моей жизни: каждый вечер перед сном я прислушивалась, чтобы раствориться в этих звуках — мне нравилось знакомиться с чем-то новым.

Утром, спустя десять дней проживания в доме, меня разбудил стук в дверь. Я проснулась с непонятным чувством тревоги, как будто все это — новая жизнь — лишь сон.

— Тамара, ты проснулась? — спросила Дзерасса за дверью.

Я постаралась успокоиться и настроить себя на новый день. Сейчас жить всяко лучше, чем раньше.

— Дзера, я сейчас к тебе выйду, дай мне пять минут, я надеваю на платье бант.

— Давай я помогу тебе его... — Дзерасса на мгновенье притихла и резко выпалила: — Выбросить! Сегодня ты наденешь новое платье! — закричала она, едва сдерживая себя от переполнившего ее чувства счастья.

Я посмотрела в зеркало и уже воображала, что на мне не этот жуткий черный мешок, а красивое бежевое платье, которое гармонично будет сочетаться с таким же бежевым чепчиком. Мои щеки вспыхнули, и лицо, еще пару минут назад выражавшее некоторое беспокойство, расплылось в счастливой улыбке. Я открыла дверь и, не проронив ни слова, крепко обняла Дзеру.

— Сегодня папа привезет платья, а сейчас я прошу тебя спуститься. — Дзера едва сдерживала улыбку, словно у нее был припрятан для меня еще какой-то сюрприз. Немного замешкавшись, она наконец продолжила: — Я должна рассказать тебе тайну, о которой никто, кроме моего отца, не знает! Тамара, скоро все изменится, и ты никогда больше не вернешься к прежней жизни!

Чуть позже я, взволнованная, спустилась к Дзерассе, с нетерпением ожидая дальнейших разъяснений. В голове я прокручивала все: может, Преподобный навсегда забрал меня к себе, а может, Зарему впервые отругали так же, как обычно она позволяла себе ругать всех вокруг, или, может, завезли новых кукол, одна из которых будет принадлежать мне. Дзерасса сидела на диване. Услышав мои шаги, она засуетилась и нетерпеливыми жестами дала понять прислуге, чтобы те оставили нас наедине. Я не сдержалась и прыснула со смеху, наблюдая со стороны эту картину. Дзера была такой смешной и важной одновременно,

что я невольно сравнила ее с Заремой, что очень позабавило также и саму Дзеру.

— Садись сюда, я приготовила нам чай и печенье! — позвала меня Дзера.

— Ты приготовила или прислуга? — не удержавшись, съязвила я.

— Тамара, не поверишь, чай нам заварила Зарема. Она до сих пор ворчит, — ответила она, закрыв ладонью рот, чтобы не рассмеяться.

Лицо Дзерассы вдруг резко изменилось. Она крепко сжала в руках плед и уставилась на меня, пытаясь без слов донести свою ценную информацию. Я, уже не в силах терпеть это долгое молчание, попросила ее раскрыть наконец секрет, о котором она говорила утром.

— Тамара, ты же знаешь, что задняя часть нашего дома — это Собрание, куда приезжают первые лица Сакиры? — спросила она.

Я это, конечно же, знала. Вопрос прозвучал неожиданно и, надо признать, расстроил меня, так как стало понятно, что ничего из моих предположений не сбудется, однако все равно желала услышать продолжение.

— В общем, — продолжила она, — мой папа два года готовил меня к этому событию. Я, как и Зарема, умею читать и писать...

— Что? — перебила ее я.

— Дай договорить, — разозлилась Дзера, робко сдерживая свое волнение. — Я буду первой девочкой, кому разрешат посещать Собрание. Первой, не считая Заремы, у которой, сказать честно, там совершенно другие обязанности.

Эта новость так меня обескуражила, что я не нашла слов, чтобы выказать ей поддержку перед столь важным мероприятием. Сейчас я была горда за свою подругу, при том что раньше меня бы задушила зависть.

— Не пугайся, Тамара, папа сказал, что и ты когда-нибудь будешь посещать Собрание. Ты и другие женщины нашей общине! Представь только, все круто изменится! — с воодушевлением, уставившись в окно, сказала Дзера.

— Я так счастлива за тебя! В твоих руках такая важная миссия!

— Нет, не взваливай на меня такую ответственность. Признаться, я это делаю для тебя, чтобы ты больше не позволяла отцу и Зареме распоряжаться твоей жизнью, а это чертова платье я выброшу в знак нашей новой жизни!

Я заплакала. Прижала к себе Дзерассу и горько рыдала, захлебываясь слезами, а она загадочно улыбалась, словно предвкушая наступающие перемены.

Часть третья

Уже месяц я живу в доме Преподобного Сармата. Мой гардероб пополнился новой парой обуви и двумя платьями, одно из которых, как я и мечтала, бежевое, а другое — праздничное, черное, но с синей каймой на плечах. Я продолжала находиться в сказке, которая вскоре распространится по всей Сакире, и все женщины благодаря Дзерассе смогут, как и я, в полной мере насладиться этим праздником жизни. Преподобный Сармат возился со мной как со своей второй дочерью. Дзера не ревновала, а, наоборот, даже поспособствовала тому, чтобы я наконец смогла вести диалог с мужчиной. Она была не по-детски мудрой и рассудительной девочкой, и неудивительно, что именно в ней Преподобный увидел Божий свет и именно ей была уготована великая миссия, угодная самому Богу.

Все было прекрасно, даже звук из зеркала куда-то пропал. Я подумала, что мышь — виновница моих беспокойных ночей — наконец-то издохла, и теперь я в полной мере смогу насладиться тишиной в комнате. Впервые ночь и абсолютная тишина убаюкивали меня, словно в комнате витала незримая магия, ниспосланная небесами для моего спокойствия. В тот вечер я долго ворочалась в постели не в силах уснуть, с нетерпением ожидая завтрашнего дня.

Проснулась я в обедненное время. Окно, на удивление, впервые с момента моего прибытия в дом было зашторено, потому первые лучи солнца и не смогли разбудить меня утром. Что-то беспокоило меня. Мне казалось, что я проспала всю жизнь.

Умывшись и надев новое платье, я собрала волосы в пучок и спустилась в зал. Ни служанки, ни Дзерассы в доме не было, только тишина, которая меня насторожила. Я старалась успокоиться, перебирая книги, которые прочла Дзера. Читать я не умела, но была убеждена, что научусь, если буду пристально смотреть на буквы, произношение которых я также не знала.

Так я просидела до семи вечера, пока страх полностью не поглотил меня. Во дворе в пределах видимости никого не было, а выходить к заднему крылу здания, где находилось Собрание, было строго запрещено. Я терялась в догадках, куда все подевались: может, они отправились в гости, а меня не захотели будить, чтобы я смогла высаться? Но не спать же мне вечно, да и кто отправляется с прислугой в дальний путь, учитывая, что до ближайших соседей не менее часа езды. Жаль, что я не умела читать, иначе Дзерасса точно оставила бы мне записку, зная, как мне будет страшно без нее.

Весь вечер, вплоть до девяти часов, я сидела в обнимку с куклой, пытаясь обуздить свой страх. В голову лезли всякие страшные мысли, что Дзерасса и Преподобный не смогли спрятаться с поворотом на холме и упали с обрыва вместе с каретой, разбившись об острые камни. Или, может, они отправились к моему отцу, чтобы он разрешил Преподобному меня удочерить, а тот в гневе напал на них и убил. Я думала об отце, анализировала его поступки и вдруг поняла, что я ничего о нем не знаю. Не знаю, как он на самом деле может отреагировать, злой ли он человек или просто несостоявшийся отец, чья истинная цель — служить Богу, а не семье. Я ничего о нем не знала.

Все эти мысли до такой степени измотали меня, что я побрала наверх, грубо плюхнулась на кровать, так что даже ножка слегка сдвинулась, а кровать слегка накренилась, и крепко уснула.

Позже, к одиннадцати часам, я вновь услышала звук из зеркала. На этот раз вопль был таким громким, что я уже не сомневалась — за зеркалом не мышь, а живой человек. Я спустилась вниз, крича на весь дом, что за моим зеркалом кто-то есть, однако с ужасом заметила, что я все еще одна. Набравшись смелости, я вновь поднялась в комнату — это всяко лучше, чем бездействовать и ждать помощи из ниоткуда — и прислонила ухо к зеркалу. Я выжидала, хотела убедиться, что крик мне не почудился. Кто знает, может, одиночество в доме и тьма на улице поиздевались над моим воображением и я все это выдумала, тем самым удвоив свой испуг?

Присидев так несколько минут, я успокоилась. Видимо, голос действительно был у меня в голове, а виновником моего больного воображения стал ночной кошмар. Однако стоило мне выдохнуть, как звуки вновь атаковали комнату. На этот раз я услышала гомон толпы и точно была убеждена, что за зеркалом кто-то есть. Я не испугалась — молчание в доме пугает куда больше, — а, наоборот, обрадовалась, осознав, что я тут не одна. Взглянув на конструкцию зеркала, я предположила, что это потайная дверь. Интуиция часто меня подводила, но мое любопытство вновь взяло верх, поэтому я, трогая все подряд, пыталась найти хоть что-то, чтобы открыть эту дверь. Я обследовала все: и оконную раму, и шкаф, и зеркало, даже под кроватью пыталась нащупать хоть какую-то кнопку. Отчаявшись вконец, я в изнеможении прислонилась к зеркалу и вдруг услышала, как за ним заиграл какой-то механизм. Нужно было всего-то немного силы, чтобы механизм, встроенный за зеркалом, отворил эту потайную дверь.

За дверью никого не оказалось. Лишь тьма и уже отчетливый голос Преподобного, который читал наставление. Меня прошиб

холодный пот — я с ужасом поняла, что дверь эта ведет к Собранию, посещение которого мне было запрещено. Я притаилась, обдумывая, что скажу в свое оправдание всем этим мужчинам в случае, если меня обнаружат. Может, признаться, что дверь в мою комнату отворилась сама и я, совершенно не понимая, куда она ведет, по глупости своей направилась в неизвестность? Или притвориться, что я, как лунатик, гуляю во сне, не соображая, что делаю? А может, меня и вовсе не заметят? Тем более совсем скоро и мне разрешат посещать Собрания. Пока я терзалась сомнениями идти или остаться, я услышала из уст Преподобного имя Дзерассы. Наверное, она сейчас находится с ним. На Собрании. Наверное, Преподобный уже сегодня сделает ее членом Собрания, на всегда изменив историю нашей общины. Я должна увидеть эту своего рода коронацию! Моя поддержка необходима Дзере, да и мне не помешало бы подготовиться к новому этапу в жизни, чтоб уже знать, что от меня будет требоваться. Собрав волю в кулак, я все же переступила порог и направилась по темному коридору, в конце которого горел яркий красный свет.

Подойдя ближе, я увидела витражное окно, сквозь которое виднелся зал Собрания. Так даже лучше, подумала я про себя. Меня точно никто не увидит, если я аккуратно, едва выглядывая, буду наблюдать за Собранием.

Оказывается, зеркало в моей комнате вовсе не является секретным входом в зал Собрания. Это всего лишь помещение, чтобы художникам было проще наносить рисунок на витражное окно, посчитала я.

Зал Собрания был огромным, я не могла остановить свой взор на чем-то определенном. Мне пришлось сквозь красное стекло отыскивать Дзерассу, которая сидела в первом ряду, скимая руку Преподобного. На сцене, где находилась трибуна, я увидела своего отца. Он что-то перебирал в руках. Я не могла разглядеть, что именно, что-то похожее на обычную столовую салфетку. Он аккуратно ее сложил и положил рядом с собой, после чего отец три раза ударил церемониальным молотком, чтобы призвать к себе внимание общины. Гул в зале утих, мужчины перестали разговаривать, а Дзерасса, наоборот, стала что-то шептать Преподобному. Я была горда за нее и в то же время беспокоилась. Она, не считая Заремы, которая стояла у двери, была единственной девушкой в зале.

«Скоро и я там буду, — подумалось мне. — Мы будем вместе и перестанем бояться их всех».

Мой отец, на удивление, улыбался. Неужели он радовался переменам? Чужая дочь наполняла его счастьем, в то время как я, лишенная каких-либо изысков в жизни, была отдана другим

людям. Конечно, в доме Преподобного я обрела то, о чем и мечтать не могла, да и подруг у моих сверстниц не было, а у меня появилась, однако мне было больно осознавать, что чужой дочери он радуется так, как никогда не радовался мне. В столь ответственный час, когда я должна радоваться за подругу и остальных женщин, я стояла там с обиженной миной и готова была зарыдать от этой чудовищной несправедливости.

— Встаньте, мужчины! — обратился к залу мой отец. — И вас, милая Дзерасса, ради которой мы все собрались, тоже это касается.

Дзерасса встала и вежливо склонила голову. Отец, оценив этот жест, продолжил свою речь, но уже обращаясь только к ней:

— Дзерасса, скажи, известно ли тебе, что такое адренохром?

Дзера посмотрела на Преподобного, чтобы тот подсказал ей. Преподобный взял ее за плечо и незаметно подмигнул ей, тем самым давая понять, чтобы она не боялась говорить правду.

— Н-нет, я впервые слышу об этом... — ответила Дзера, едва справляясь с комом в горле.

Мужчины в зале захочотали и стали потирать руки. Они будто ждали какой-то кульминации. Дзера же засуетилась и попросила своего отца прекратить эти унижения, но тот все так же стоял с натянутой улыбкой и гладил ее по плечу.

— Видишь ли, юная и глупая Дзерасса, наш Преподобный — умнейший человек, который умеет добывать этот адренохром. И у него это получается лучше, чем у остальных. Рассказывал ли он тебе, что помимо тебя у него есть десятки других дочерей по всей Сакире? — вновь спросил отец, при этом сам он походил сейчас на безумца, одержимого какой-то своей идеей.

Дзера не сдержалась и зарыдала на весь зал, ее прилюдно унизили и напугали. Немного успокоившись, она стала говорить что-то неразборчивое Преподобному, а тот все так же стоял и гладил ее по плечу, из-за чего я испытывала презрение к этому человеку. Мое сердце бешено колотилось, тело отказывалось подчиняться мне — я была во власти собственного страха и гнева.

— Я не знала про других! — крикнула Дзерасса в слезах. — Папа мне ничего не говорил! Скажите, зачем вы меня об этом спрашиваете, я же здесь не для этого...

— Милая, адренохром — это адреналин, который вырабатывается в твоем хрупком теле. Твой отец холил тебя и лелеял, позволил быть исключением, притворялся заботливым и любящим, чтобы ты считала себя особенной на фоне остальных девочек в Сакире. Согласись, ты ведь была счастливым ребенком? — вновь спросил мой отец, ударив по трибуне кулаком.

Напуганная Дзера упала на колени перед Преподобным и вновь просила его остановить весь этот ужас. Я хотела выбежать к ней, взять за руку и увести куда подальше, чтобы оградить от дальнейших унижений.

Мужчины в зале потирали руки от удовольствия. Они перешептывались и неприлично хихикали, указывая на нее пальцем. Я возненавидела отца, но еще больше возненавидела Преподобного. Если бы только Дзерасса увидела меня за стеклом! Как бы я хотела разделить с ней ее боль, чтобы ей стало хоть чуточку легче.

От происходящего ужаса и собственной беспомощности у меня жутко разболелась голова. Я закрыла руками уши и стала ждать момента, когда это безобразие прекратится, но на этом, к несчастью, мой отец не остановился:

— Дзера, взгляни на своего любимого отца, — приказал он.

Дзера закричала. Крик был таким пронзительным, что я резко вернулась в реальность, перестав мечтать о скорой встрече с Дзерассой. Рядом с ней не было Преподобного. Рядом стояло существо в человеческом одеянии, лицо которого напоминало пасть ящерицы. Ужас охватил и меня, я словно была парализована. Бедная Дзерасса упала в обморок, а я не могла ничего сделать, потому что мое тело не подчинялось мне. Казалось, что все это — страшный сон, а я вот-вот проснусь, навсегда забыв об этом кошмаре.

— Ты оклемалась? — Отец жестом приказал поднять Дзеру и крепко держать, чтобы она вновь не упала. — Значит, ты была счастливым ребенком, как я вижу. Представьте, мужчины, — обратился он к залу, — каково сейчас этому ребенку, когда его жизнь состояла лишь из праздников. Твой папочка обещает тебе обрести свободу, у тебя есть доступ к любой книге и даже появилась подруга. Но вмиг это все отбирают, и Преподобный, который тебе все это даровал и являлся всем в твоей жизни, стоит напротив с разинутой пастью и ждет моего разрешения, чтобы вдоволь насытиться адренохромом внутри твоего тельца. Вы только представьте, какая ценная энергия сейчас разбушевалась в нашей пище!

Отец подошел к Дзерассе, схватил ее за подбородок и приказал смотреть на него. Дзера тем временем не соображала, что происходит. Она все еще была в полуобморочном состоянии. Лицо отца вдруг стало менять форму, череп медленно вытягивался, из-за чего кожа растянулась и потрескалась. Под трещинами виднелась яркого окраса чешуя. Глаза будто потеряли жизнь, они покернели, словно в них отражалась смерть. Я увидела зверя в теле человека. Длинная широкая пасть растянула кожу лица уже так, что ее остатки безжизненно свисали с головы

этого зверя. Отец больше не говорил. Это уже был не он, а зверь, каким я его всегда и считала.

Он вцепился в руку Дзеры и откусил ее, проглотив целиком. Дзера уже не двигалась, страх настолько овладел ею, что она, как я предполагаю, скончалась еще до превращения моего отца в монстра. Когда мой папа проглотил руку, он дал разрешение остальным. Преподобный и другие мужчины набросились на нее в ту же секунду и жестоко растерзали, разбегаясь по углам и унося с собой по кусочку плоти. От увиденного я упала в обморок и пробыла в этом состоянии несколько минут.

Очнулась я от крика Заремы и мгновенно вспомнила, что произошло на Собрании. В темном коридоре, о котором, вероятно, никто не знал, оставаться было небезопасно. Я поняла, что надо действовать быстро. Страх и желание выжить взяли верх, поэтому слезы, если и наворачивались на мои опухшие глаза, я все же пыталась сдерживать — оплакивать свою подругу я буду потом. Я верила, что ее душа витает надо мной, пытаясь как-то помочь мне выбраться из этого ада. И это единственное, что способно было успокоить меня — мысль, что ее душа рядом.

В зале Собрания Заремы не было. Лишь крепким сном спали мужчины. Они облачились в прежний вид, но изодранная одежда выдавала их злодеяние. Я не знала, что делать дальше, но точно понимала, что нужно воспользоваться моментом, пока они спят, и бежать к женщинам. Рассказать всю правду и пойти всем к Собранию, вооружившись чем только можно. Нужно противостоять этому злу, иначе на месте Дзерассы может оказаться любая из нас.

Я побежала к двери и, приблизившись к ней, вновь услышала голос Заремы. Она была не в зале Собрания, а в моей комнате. Зарема выкрикивала мое имя, пытаясь совладать с голосом. Я ей, конечно, не доверяла, но выжидать, пока она покинет комнату, не могла. Нужно было торопиться. Надо застать ее врасплох и ударить камнем, который лежал под моими ногами. В тот момент я сказала спасибо Дзерассе, думая, что именно благодаря ей он оказался здесь.

Я пыталась набраться смелости, чтобы решиться на этот шаг. И чем больше я осознавала, что ударить Зарему необходимо для моего же побега, тем больше трусила. Но вмиг все мои сомнения улетучились, когда я услышала заведенный механизм. Зарема нашла меня, поэтому действовать я буду радикально: я нападу на нее, ведь на кону не только моя жизнь, но и остальных женщин.

Дверь открылась. Передо мной стояла Зарема с заплаканным лицом. Увидев мой злобный оскал, она отступила от порога и вымолвила:

— Прошу, Тамара, позволь рассказать все, что происходит на самом деле.

Я стояла в позе готового напасть на жертву зверя. Всем своим нутром я понимала, что сейчас должна вцепиться в нее, но со страху все же решила выслушать Зарему. Она, поняв, что я даю ей время, упала на колени и в слезах рассказала обо всем, что происходило в Сакире.

— Тамара, у нас есть время, их тело после преображения теряет энергию, для восстановления которой нужен долгий сон. Я человек, если тебе интересно знать.

— Ты была там и убила мою подругу! — закричала я.

— Я не убивала ее. — Зарема вновь расплакалась и принялась убеждать меня в правоте своих слов. — Я была вынуждена служить этим людям, чтобы женщины не усомнились в них, как когда-то усомнилась твоя мать. У меня не оставалось выбора, потому что в этой жизни я любила только ее — твою мать. Если бы не ты, Тамара, я бы давно отправилась к ней на небеса, но мне необходимо было спасти тебя! Ты — единственное, что осталось у меня от моей дочери...

Я оцепенела от этих слов. Камень выпал у меня из рук.

— Сначала я долго обдумывала план, как мне спасти тебя. Твоя мать была убеждена, что тебе необходима свобода, но выбраться отсюда, находясь под куполом, в другой мир практически невозможно. Я старалась быть все время рядом с вами, но однажды моя дочь исчезла. Я не видела ее три месяца, пока Ахсар, ты с ним познакомишься позже, не рассказал мне о трагедии на Соборании. Он передаст тебе ее дневник, там все написано, но прочтешь ты его, когда тебя научат читать за пределами купола. Я уже давно со всеми договорилась, но не думала, что это произойдет сегодня.

— Ты видела все их злодеяния и не пыталась что-то сделать? — спросила я, все еще сомневаясь в ней.

— Я не в силах...

— Ты могла хотя бы предупредить этих детей! — взревела я.

— И тогда я бы не спасла тебя, Тамара... Мне больно за каждую девочку, с которой они это вытворили. Это бремя лежит тяжелым грузом на моем сердце, но я долго пробивалась к этому статусу, чтобы добиться расположения мужчин. Тамара, я благодарила твоего отца за то, что он убил мою дочь, потому что мне нужно было сказать это ему ради тебя! Твой отец медленно вводил меня в курс дела, а я притворялась одурманенной, называла их расу Божьей привилегией, а нас — букашками, пищей. Просила пощады и поклялась верно служить им взамен на Божье прощение за все наши человеческие грехи. Твой отец, чтобы проверить подлинность

моих слов, позвал меня на первое Собрание и на моих глазах растерзал там мою соседку, которую я знала с момента ее рождения. Внутри во мне все кричало, я плакала, задыхалась от ужаса и боли, которую испытывала, но внешне сохраняла спокойствие. И он поверил мне. Поверил, что я готова ради одобрения их расы жертвовать и обманывать всех вокруг, если даже собственную дочь с улыбкой на лице отправила на небеса. Но я притворялась. И мне никогда за это не будет прощения, однако я должна выполнить свое обещание, данное дочери.

Зарема замолчала. Она смотрела на меня с надеждой на понимание и прощение, пытаясь определить по выражению моих глаз, поверила ли я ей и нашла ли хоть каплю оправдания ее неумышленным злодеяниям. Мне ничего не оставалось, как поверить каждому ее слову. За эти полдня столько всего свалилось на мою голову, что у меня не было сил копаться в прошлом, расспрашивать ее о матери и уж тем более обвинять в чем-то. Мне стало жаль Зарему, которая стояла передо мной на коленях. Я помогла ей подняться и обняла ее. Обняла крепко-крепко, чтобы хоть как-то облегчить страдания, которые ей довелось испытать из-за меня.

— Тамара, твой отец сказал, что ты будешь следующей. Я в ужасе выбежала и стала искать тебя, я не знала, что это произойдет так быстро, поэтому план побега может не сработать, но нам уже ничего другого не остается.

— Я буду бороться ради нас всех! Ради подруги и мамы! Ради женщин в Сакире и ради тебя, Зарема! Я не могу бежать!

Зарема провела ладонью по моей щеке и по-матерински улыбнулась. Кажется, я впервые увидела в ней нежность, которую она скрывала под маской бесчувственности.

— Нет, я сама это сделаю. Я должна сделать это сама.

Зарема достала из шкафа мужскую одежду и помогла мне переодеться. Далее мы отправились в ванную комнату. Там Зарема нашла ножницы и состригла мне волосы, оставив челку, которая прятала мои, как она выразилась, женские брови.

— Ты должна быть похожей на мальчика, — сказала Зарема, пытаясь прикрыть брови челкой.

— Как мне это поможет? — усомнилась я.

— Тамара, Ахсар единственный в Сакире мужчина, которому ты можешь доверять. Он брат твоего отца.

— Как?! — испугалась я. — Как мы можем ему доверять?!

— Тамара, возможно, он тоже подобен ящеру, однако он искренне любил твою мать, верь мне, я убеждена, что он на нашей стороне.

— А зачем мне притворяться мальчиком? — вновь спросила я.

— Ахсар стареет, и ему нужна замена. Он обманет мужчин, охраняющих единственный выезд из Сакиры, убедит их в том, что ты и есть замена. Якобы под предлогом, что ты должна лично ознакомиться с делами Ахсара, — сказала Зарема, поцеловав меня в лоб.

— А что будет с тобой? Кому я буду там нужна, если тебя не будет рядом?

— Я нужна здесь, моя девочка. Прости меня, но там тебе нужно будет научиться самой постоять за себя. А здесь я сделаю все, чтобы твой отец никогда не смог до тебя добраться.

В дверь постучали. Это был Ахсар. Зарема вывела меня на улицу и приказала молчать, чтобы голос не выдал во мне девочку. Я уселась рядом с Ахсаром в грузовик, боясь даже взглянуть на него. Как только Зарема захлопнула дверь, я начала горько рыдать, осознавая, что больше не увижу свою бабушку и Дзерассу. Зарема плакала тоже, но с улыбкой на лице. Я знаю, она улыбалась, чтобы успокоить меня. Знаю, что она плакала по маме, чью миссию наконец-то выполнила, плакала по всем девочкам, за которых отомстит, навсегда успокоив их души, которые все еще витают над Сакирой в ожидании справедливости.

Как только мы выехали за пределы дома, я услышала визг рептилий, который долго не утихал. Я перепугалась, но Ахсар успокоил меня. Он сказал, что Зарема закрыла дверь Собрания и подожгла дом Преподобного. А визг этих животных — подтверждение их приближающейся смерти.

— Ты точно думаешь, что огонь их убьет?

— Будь в этом уверена, я это точно знаю!

Дорога была длинной. Ахсар успел за это время накормить меня осетинским сыром, сказав, что там, куда мы едем, это очень популярное блюдо. Отныне этот сыр у меня ассоциируется со свободой.

Осетия.

Я долго себе представляла иной мир. Думала, какую одежду носят женщины, можно ли им разговаривать с мужчинами, есть ли у жителей Осетии свое Собрание и могут ли все посещать его или только определенные люди. Пока я витала в мыслях, пытаясь как-то подготовиться к новому этапу в своей жизни, Ахсар достал из-под сиденья алюминиевый ящик, открыл его и протянул мне переполненный вставными страницами и какими-то фотографиями дневник.

— Твоя мама хотела бы, чтоб ты это прочитала, — сказал Ахсар.

— Но я не умею читать...

— Тебя этому научат. Тамара, там люди все равны, будь ты женщина или мужчина.

Слова Ахсара изменили мое представление об Осетии. Пятнадцать лет я жила в лживом мире, думая, что так и надо жить. В Сакире я мечтала родить ребенка, чтобы у меня наконец появилась возможность заниматься хозяйством с остальными женщинами, с которыми я спокойно, без страха быть обруганной, могу разговаривать. О ребенке я забуду, ведь он достанется моему будущему мужу, о котором, как я понимала, тоже должна буду забыть. Но моя подруга Дзерасса стала первым человеком, кто смог пробудить во мне другие желания, о которых я не смела и мечтать. А сейчас и Ахсар размыкает границы моих представлений. И Зарема, чьей заветной мечтой было мое спасение.

Когда мы подъехали к границе, которая была перекрыта бетонным полукуполом, Ахсар попросил меня не разговаривать и не двигаться, потому что моя мимика и движения выдают во мне девочку. Он вышел из грузовика и подошел к мужчинам. Я услышала, как Ахсар стал рассказывать про Собрание. Он поведал им, что Преподобный и остальные члены Собрания, в том числе и мой отец, якобы неправильно интерпретировали Бариосту. Преподобный в своих наставлениях предполагал, что Бог в ближайшие дни покарает их за это, сожжет Собрание дотла, если они не изменият к лучшему положение женщин в обществе. Я сидела в машине, спрятав пол-лица ладонью, чтобы не вызывать никаких подозрений, и пыталась сохранить вид невозмутимого мальчика, в то время как все внутри меня клокотало от наступающих в Сакире перемен. Зарема и Ахсар придумали удивительный план, чтобы спасти женщин в общине, потому что здешними мужчинами можно было манипулировать только через страх к Богу. Мужчины у границы начали смеяться. Им показалось забавным, что женщины могут иметь такие же права, как у них. Смейтесь, думала я про себя, завтра вы все узнаете, что Собрание сгорело дотла.

Я чуть было не уснула, пока Ахсар разговаривал с военными. Наконец он сел в грузовик и протянул ладонь.

— Что я должна сделать? — недоуменно спросила я.

— Дать пять. Это называется дать пять.

— И что это значит?

— Это значит, Тамара, что совсем скоро ты будешь в Осетии. Отныне ты свободна! — радовался он.

— А как же остальные? Как же Зарема?

Ахсар все еще ждал от меня хлопка по его ладони, что я и сделала, хоть и промахнулась.

Часть четвертая

Когда мой рассказ подошел к концу, Астемир подбежал ко мне и прижался так сильно, что я услышала биение его сердца. Он расцеловал мои мокрые от слез щеки и прошептал, что я лучшая мама на свете. Мне было приятно это услышать. В ответ я тоже крепко обняла сына, чтобы теперь и он смог услышать биение моего сердца. В этот момент я ненавидела себя за то, что на самом деле была не такой уж хорошей матерью, вопреки словам собственного сына. Пока я упиралась подбородком о его макушку, меня не покидала мысль, что через меня ему мог передаться ген моего отца. Мне было страшно даже подумать, с какими проблемами столкнется Астемир, если в нем действительно увидят особенность, не свойственную людям, поэтому я все еще была в ступоре. Рисковать дочерью, думая, что с Астемиром все хорошо, я точно не могла.

Я представила себе сцену, как муж убедил меня в обратном и я по-настоящему полюбила своего сына. Жизнь идет своим чередом. Дети подрастают. Зарина планирует быть хирургом, а Астемир все еще в сомнениях в выборе своей профессии. И я, абсолютно счастливая, захожу как-то в комнату к детям, чтобы в очередной раз насладиться общением с ними, и вижу ужасающую картину, как из пасти моего сына торчит рука дочери. Эта сцена возвращает меня в жестокую реальность, в которой я одновременно и люблю, и боюсь своего сына.

Поболтав еще немного с Астемиром, я уложила его спать, потом вышла к мужу на кухню и попросила дать мне несколько дней побыть наедине с сыном. Он стал неодобрительно ворчать и обвинять меня в том, что я плохая мать. Он все еще не простил мне побег, хотя, признаться, прощения, и уж тем более понимания, я от мужа не ждала. Я спокойно выслушала его, так как спорить с этим вспыльчивым человеком было бессмысленно.

Наш брак трещит по швам. Я сама все разрушила, сама слупила, когда подумала, что людям можно довериться, рассказать о своем непростом прошлом, а они поймут меня и всячески будут оправдывать мои необдуманные решения, ссылаясь на трагедию в Сакире. Муж, конечно, знал о Сакире, как и весь Кавказ, но что именно происходит за куполом — тайна для всех, которая, признаться, уже никого не интересует. Зарема сейчас находится у власти и дает о себе знать, лишь когда моя банковская карта пополняется деньгами. Сообщения анонимные, но я знаю, что единственные люди, заинтересованные в моем благополучии, — это Зарема и Ахсар.

Я познакомилась с Астаном в вечерней школе для взрослых, которые по той или иной причине упустили возможность посещать обычную, государственную школу. Он часто шутил, что мы находимся в коррекционном классе, потому что наш возраст обязывает нас уже знать школьный материал, а не только-только приступать к нему. Астан жил в горной местности, где предпочитал пасти овец, а не бежать по утрам в школу, которая находилась в другом селе, на равнине. Как-то к нему приехал погостить брат, который занимал хорошую должность в Москве, и Астан решил последовать его примеру — выучиться и получить достойную профессию. Мы оба не понимали, что из себя представляет взрослая жизнь в цивилизованном городе, но точно знали, что нам надо к ней готовиться, чтобы легче было адаптироваться. Учеба давалась нам легко и приносила обоим удовольствие. Казалось, что у нас много общего, и поэтому Астан, дабы не терять попусту время, сразу после учебы сделал мне предложение, торжественно вручив кольцо.

Сейчас, когда мы вместе молча сидим на кухне, я понимаю, что мы поторопились. Я ни о чем не жалею, ведь в этом браке у нас родились прекрасные дети, но и ставить крест на своей жизни я не хочу. Он не пытается услышать и понять меня, называет меня дурочкой, которая запуталась в своих воспоминаниях. Я не могу переубедить его, поэтому буду действовать по своему плану.

Когда Астан уснул, я пошла в комнату к сыну. Он не спал. Казалось, Астемир ждал меня, понимая, что поспать ему сегодня не удастся. Я собрала его вещи, положила в сумку все самое необходимое, потому что там, куда мы поедем, всего этого может не быть. Я боялась, что Астан проснется, все поймет и отберет ребенка, навсегда запретив мне к нему приближаться. Поэтому попросила Астемира тихо идти вслед за мной, сказав, что это игра такая.

Внизу нас уже ждал знакомый грузовик. Я тепло поприветствовала Ахсара и поблагодарила за помощь. Подумать только, за целый день я только сейчас смогла спокойно выдохнуть.

— Ты хорошо обдумала свое решение? — спросил Ахсар.

— Да, — уверенно ответила я. — Единственный человек, который мне поможет с сыном, живет там.

Дорога будет долгой. Я точно знала, что за это время еще сто раз пожалею о своем решении. Знакомые пейзажи вернут меня в прошлое, от которого я всю жизнь убегала, однако сейчас убегать больше не хочу. На кону жизнь моего ребенка, и только Зареме под силу воспитать его так, как был воспитан Ахсар. Когда Астемир засопел, полностью погрузившись в сон, я подумала, что надо бы успокоиться, чтобы не смущать своим взвинченным видом Ах-

сара. Сперва я пыталась погрузиться в воспоминания об Осетии. Мне припомнились мои первые осетинские пироги с тягучим сыром, восхитительный запах которых до сих пор щекочет ноздри. Вспоминала, как мы с Астаном были счастливы, когда у нас родились дети. И тут же лицо расплылось в улыбке, не оставив шанса слезам.

Мы спокойно пересекли границу, солдаты ни о чем меня не спрашивали, так как санкций в отношении женщин никаких уже не было. Да и вообще, рядом с Ахсаром проблем не должно было возникнуть, учитывая, какое место он сейчас занимает в Сакире.

Когда мы проезжали кладбище, мне показался знакомым едва различимый силуэт на одной из могильных плит. Я попросила Ахсара остановиться и дать мне несколько минут подышать свежим воздухом.

— Все хорошо?

— Да, я сейчас вернусь. Побудь с Астемиром.

Я вышла из машины и направилась к могильной плите. Чем ближе я подходила, тем тяжелее давался каждый шаг. Волнение, охватившее меня, казалось, мешало приблизиться к надгробию, я будто боялась окунуться в омут воспоминаний и навсегда остаться в нем.

Подойдя ближе, я сперва не могла разглядеть, кто на нем изображен. На камне был твердый слой земли, по всей видимости, сюда давно никто не приходил. Я стала лихорадочно очищать рукавом надгробие, пытаясь отодрать намертво присохшую грязь, чтобы наконец увидеть портрет человека, который здесь похоронен. Как только я смогла оттереть ту часть надгробия, которая открывала лицо покойника, я в ту же секунду сжала грязной ладонью рот, чтобы не закричать от боли, которая вмиг пронзила мое сердце. Моя любимая подруга Дзерасса покоилась здесь. Она была единственным светом моей жизни, когда я жила в Сакире. Юная, ни в чем не повинная жертва.

Я поцеловала ее надгробие, нарвала полевых цветов и украсила ими могилу. И здесь, у ее последнего пристанища, побыв с ней наедине некоторое время, ко мне пришло осознание, что Дзерасса никогда не покидала меня.

И даже сейчас я ощущала ее руку на своем плече и слышала едва уловимый шепот, который постепенно растаял в легком шуме ветра, но мне все-таки удалось разобрать ее послание. Она предсказывала мне счастливую жизнь.



Индира ЗУБАИРОВА

ПРИ ТАЮЩЕЙ ЛУНЕ

СТИХИ



* * *

He содрогнулась ветвь. Промерз ручей.
Больной фонарь моргнул не в первый раз.
Забудется, как звенен соловей,
когда вокруг не встретишь пары глаз.

Плынет луна по синему пятну
и прячется за сигаретный дым.
Фигура сохраняет тишину
в преддверии нечаянной беды.

И к горечи причастная сова
взлетит и взрежет небо на куски.
О ком полет? Кого поцеловать
смерть черной меткой встала у реки?

* * *

Окруженный крестами, сутулюсь во тьме.
Свеча — мачеха, мать — незнакомка.
Из утробы на горе пришел человек
и шагнул в направлении солнца.

Имя отнял мулла, и язык отняла
эта Женщина в трауре вечном.
И с печатью руки обгорела щека:
этим кончилось первое лето.

Тридцать зим оголило сутулую ветвь
за окном человека. Вот.
Из утробы на горе пришел человек
и стоит на распутье дорог.

* * *

Молодой крапивою покусан,
По аулу бегает младенец.
Сердце, что приточено к разлукам,
Белый саван перед гостем стелет.

Погружает ступни он, тревожит
Реку, что оттасчивает щебень.
Бабочка вприпрыжку воздух ловит
И цветок целует нежно. Темень

Неизбежно приступает к ночи.
Где крапива, где младенца голос?
Жизнь изгибы к отрочеству точит
И вплетает утонченный лотос.

Ночью истомленные просторы
Замерли к рассвету в ожиданье.
Головы свои склонили горы,
Бабочка вспорхнула на прощанье.

* * *

Стучит по костям неусыпная боль,
и северный ветер — в окно.
Наступит ли этой зимою покой?
Не верится в это давно.

И с горки сбегающий мальчик забыл,
как жадно глоталась сирень,
как девочку в платьице молча любил,
как холоден был тот апрель.

И мир разделился на берега два,
а детство плывет по реке.
Стучат по костям беспощадно слова,
и горечь ползет по щеке,

и северный бьется о грудь не щадя...
Апрельские тени в стенах.
Я в тысячный раз отпускаю тебя
с гвоздикою в смуглых руках.

* * *

Под вечным ударом кнута и иллюзий
Терзайся и странствуй. На что еще жизнь?
О счастье моли, а несчастье будет
На этой поверхности белой земли.

Не силься забыть, вспоминание — кроха:
Что ржавчина, глина, что вымя в степи.
И молча глядящее лунное око
Примкнется привычно к усталой груди.

Слетел календарь, и проглоchenо времya.
Отверг все, и принял, и отгоревал.
Вот ветер принес чужеродное семя.
В чем грех мой? Кто ветер с усердием гнал?

* * *

Стою, и ватная земля
Щекочет ноги мне.
И к горлу тянется петля
При тающей луне.

Какую будущность вязать
Я встал на этот путь?
Какое слово мне избрать
И выпустить из губ?

Не тосковать ли по скале,
Нависшей надо мной,
И крику чаек на заре
Под Каспия прибой?

Стою, сутуности дерзить
Так мало сил. Кого
Я отговаривал курить
И подносил огонь?

Какое прошлое сюда
Привез в своей суме?
Стою. И не моя земля
Щекочет ноги мне.

Денис ДЫМЧЕНКО

ДОВЕРИЕ

РАССКАЗ



Жду я, тревогой объят...

А. А. Фет

Телефон загудел — поступил новый заказ. Кирилл сидел на бордюре перед чужим подъездом с желтой сумкой за спиной. Рядом на подножке стоял велосипед. Кирилл поправил кепку и достал телефон из кармана. В приложении еще висел статус «Вручение». Обновлять его не торопился, хотел отдохнуть. Без перерыва шесть часов с десяти утра на ногах. Не успела первая и единственная на сегодня пара в институте закончиться — он пошел работать.

Денег не хватало всегда. Стоило их заработать, они тут же раскидывались на первостепенные траты и мелкие долги. А в конце месяца зарплата целиком уходила на оплату за съем квартиры. Подвешенное финансовое состояние подвешивало и Кириллово настроение. Ни Даше приятность купить, ни себе. Все это злило.

Он свернул рабочий экран, залез в соцсети. Открыл диалог с девушкой. В сотый, если не в тысячный раз взгляделся в строчки:

12:02 — Спасибо, что перевел
12:02 — Как кончатся пары, зайду в аптеку за тестом
12:02 — А там посмотрим...
12:03 — Как вернешься, будем думать

И в ответ бестолковое:

12:05 — Хорошо!

Страшно было ждать. Беременность — как приговор суда божьего. Одна полоска. Две полоски. Одна полоска. Две полоски. Можно было бы погадать на ромашке, но цветы во дворе с домами-новостроями не росли, только недавно посаженные елки пытались тянуться к небу и не чахнуть на солнцепеке.

Нужно было работать. Но работать, не думая и не тревожась, не получалось. Что ни шаг, то очередной план развития событий,

непрерывно прущие идеи, что и как. Варианты и варианты для вариантов. Посреди мысленной стройки он хотел притупить тревогу, но, наваливая детали и возможности, только разворачивал ее и таким образом растил. Вил сам себе ловушку. Выполз из нее, тыкая на кнопки в приложении и считая цифры.

Кирилл поднялся, сел на велосипед. Прожал «Заказ вручен». Потупив несколько секунд, приложение выдало маршрут и таймер. Заказ из «Пандамаркета» на Тухачевского, время — семь минут. Вжал педали, тронулся. Катился мимо машин к выезду со двора. Оранжевыми стенами возвышались «югстроевские» типовые дома, ютились, жались друг к другу, лишенные пространства. И маленький человек по примеру сжимался еще сильнее.

Выбрался на улицу. Велодорожек здесь не было, и приходилось либо лавировать по стоянкам и с краю дороги, либо с трудом огибать пешеходов, которые смотрели на велосипедистов как на обезличенное наглое нечто с двумя колесами. Особенно мамочки с колясками. Как же мамочки с колясками ненавидят велосипедистов, почти так же, как велосипедисты — этих мамочек.

Кирилл ехал по-над дорогой, цепляя иногда громоздким рюкзаком декоративные кипарисы и ели. Главное, что машины не цеплял — если вдруг поцарапает, влетит в копеечку. Даша и так платила штраф за то, что ехала с подругой на одном самокате. Их кто-то сдал.

Парень представил, как Даша в летнем ярком сарафане сидит сейчас на парах, слушая какого-нибудь скучного преподавателя, у которого волосы густые только в носу и на бровях, но слова до нее не доходят, она в таком же страхе, как и он, не может ни о чем думать. У нее в голове не трудовое право, а эта тоненькая картонная палочка, а точнее, три таких палочки из упаковки средней цены с нежными, призванными успокаивать цветами.

Этой ночью у них был разговор. Разговор тяжелый. Задержка перевалила за две недели. Даша советовалась с подругами и матерью, но услышала в свой адрес только обвинения («А вы что, не предохраняетесь?», «Ну о чём вы думали!», «У тебя нет головы на плечах?»), не терпелось им узнать, как у них так вышло, как они до такого довели. Что делать, не говорили. А они тоже не знали. Решили с вечера, что на следующий день сделают тест. Пойдут к гинекологу. Купят дорогущие таблетки для прерывания. Кирилл пообещал ей добыть деньги, но ее эти слова только расстроили, потому что не рассудительность ей нужна была, а сочувствие.

Даша разбудила Кирилла в полпервого ночи. Растижала его, рыдая, спросила: «Ну почему ты спишь, почему ты не можешь поси-

деть со мной?» Парень не понял, перед глазами была пелена, смысл слов не прорался до его замутненной спросонья головы. Как на сон, глядел он на Дашино смятое, отекшее от слез лицо; бледный свет из окна ложился так, что видно было красноту ее глаз.

— Что случилось, Даш? — Кирилл потер глаза, повернулся к девушке голову, не поднимаясь с подушки. — Чего ты не спишь?

— Да как я могу спать, Кирия?! — закричала Даша и завыла, плача ее затряслись, ленты волос упали на лоб. — А если я... если он есть уже... что нам делать тогда?! Что мне с ним делать?!

Кирилл потянулся к девушке, хотел взять ее за руку. Но Даша отсела дальше, к стене.

— Ты не любишь меня... — она прикрыла лицо запястьями, сложенными пальцами вцепилась в висящие пряди. — Кому я такая нужна...

Наконец парень осознал, что происходит. Скинул с себя одеяло, вскочил, обнял девушку, прижал к себе:

— Ну что ты несешь? Конечно, нужна! И я люблю тебя, ни за что не оставлю! Как ты вообще можешь так говорить...

— Ты даже потерпеть часик без сна ради меня не можешь! — Даша попыталась отстранить его от себя, и он поддался, глядел на девушку чуть сверху, не соображая, что делать и что говорить. — Ты мне нужен сейчас, Кирилл!

Рот его открылся, но слова так и не нашлись. Тяжелая и без того голова будто наполнилась жестким, крупным песком, стала больше напоминать набитый донельзя бурдюк, чем голову с думающим мозгом внутри. Веки смыкались, в висках потягивало, в груди, на самом верху, под горлом, нарывалась какая-то массивная, крившая дыхание пломба. Кирилл потирал пальцами затылок, нечаянно с болью надавливая на ямку между шеей и черепом. Он очень хотел спать.

— Да, давай подождем с этим до утра. Тогда и план обдумаем. А сейчас-то что нам париться...

Резко, с раздражением и обидой девушка бросилась на кровать, та в ответ жалко, как-то визгливо скрипнула; Даша отвернулась к стене, шмыгнула носом, буркнула железно:

— Спокойной ночи, Кирилл!

Но Кирилл не мог уже лечь и спокойно спать. Соображал по-прежнему плохо, ничто в теле и конечностях не работало как надо. Но если бы он лег, возненавидел бы себя. Даша бы, может, и простила, а он бы эту селф-ненависть уже никуда бы не дел, потому что худшее из состояний — безразличие, а стать безразличным — душу собственную скомкать и выкинуть, а в чужую еще и плюнуть.

— Даши, — он положил руку ей на плечо.

— Я сказала: спокойной ночи! — Даша дернула плечом, отодвинулась еще дальше, на самый край подушки, так что голова упиралась в спинку. — Если тебе так хочется — спи. Мне не нужно, чтобы меня успокаивали.

Рука вновь опустилась ей на плечо. Кирилл погладил ее нежно, вздохнул, подсел ближе. Он не всегда понимал ее в такие моменты. Правильнее было бы сказать: чаще не понимал. Но не хотел оставлять, не хотел просто лежать рядом, отвернувшись.

— Даши, я не лягу, — заявил он, не переставая ее гладить. — Я буду рядом. И буду тебя успокаивать. Потому что тебе это нужно.

Минут пять она лежала не двигаясь, пока его рука мерно спускалась от плеча к локтю и так же мерно поднималась обратно, сползая иногда к спине. И чем дольше Кирилл гладил, чем чаще произносил «Я с тобой», тем заметнее Даши сопела, тем сильнее плакала. И вот она поднялась. Обняла саму себя, задышала прерывисто, губы ее кривились, подбородок наморщился, с век срывались незаметные при таком свете слезы. Она щурилась, глядя почему-то на подоконник — наверное, как на самое яркое место в комнате.

Вдруг вцепилась в парня, приникла к нему. Долго всхлипывала, силясь что-то сказать, но все в ней дрожало, все в ней было не на месте.

— Я боюсь, Кирь, понимаешь... — плакала Даша ему в шею.

— Не бойся, Даши, — ответил Кирилл и сам понял, как глупо и обыденно это звучит, но не мог ничего придумать честнее. — Все будет хорошо. Завтра купим тесты, если что-то... будет... то к врачу пойдем, купим лекарства...

Она обняла его сильнее, гладила по спине, почти терла.

— Ты знаешь, сколько медикаментозный аборт стоит?

— Если... — он не мог решить, как лучше сказать — «мы» или «ты», как передать, что он на ее стороне и примет любое ее решение. — Если посчитаем это нужным, то купим, я найду деньги, заработаю. Ничего страшного.

Девушка отстранилась, прижала к груди руки, взгляд опустила. Всхлипнув, проскулила:

— Если я разрушу всю нашу жизнь...

Мелькнула мысль: «А если она захочет его оставить?» Но Кирилл отмел эту мысль как неважную, по крайней мере сейчас. Даша плакала, а ему не хотелось, чтобы она плакала.

— Вот стукнуть бы тебя! — не сдержался Кирилл и, чтобы сгладить ненарочную грубость, поцеловал Дашу в лоб, нежно об-

нял. — Не рушишь ты ничего! Это просто жизнь, такое иногда бывает. Все будет хорошо! Давай сначала тест сделаем, а там будем смотреть.

Посидели в обнимку молча.

Впервые Даша подняла лицо и взглянула на парня.

— Ты меня не бросишь? Даже если я истеричка?

— Если и истеричка, то моя и любимая, — улыбнулся Кирилл, приложился лбом к ее лбу, мгновение спустя поцеловал. — Обещаю, что буду рядом, хорошо?

— Прости, что я тебя на уши поднимаю, как всегда. — Она утерла слезы со щек и засмеялась. — Я люблю тебя и... не хочу, чтобы ты меня бросал.

Кирилл улыбнулся и погладил девушку по голове.

— Дурочка ты...

И уснули в обнимку...

Чуть не наехал на какого-то смуглого парнишку, перебегавшего стоянку. Тот молча отскочил, даже вдогонку ничего не бросил, а Кирилл вполголоса извинялся — больше для себя, чем перед ним. Оглянулся — полпути проехал.

Первые этажи многоэтажек коробились и коричневели магазинами, закутами копицентров и мелкопошибными кафешками. Впереди — перекресток с полутораминутным светофором, слева — пробка метров на триста, на весь отрезок улицы. На другой стороне брускатку перекладывали, и народ по бордюру, у самых авто струился стройным потоком к этому самому светофору. Солнце, отражаясь в автобусных окнах, било Кириллу в лицо, слепило глаза, жгло шею. А кепку он сегодня, как обычно, не взял.

Хотел успеть проскочить, но притормозил за шесть секунд до красного, под самый писк: компашка школьников-среднеклассников перекрыла дорогу и встала. Кирилл цокнул, оперся на ногу. В круге красными лампами на черном стекле — 88, и счет уменьшался. Смирился.

Зашел, пока стоял на светофоре, в профиль. В кружке была его, Кирилла, сегодняшняя утренняя фотография (с фото-контроля) — торчащие кверху волосы, мелкие, вечно сонные глаза, дневная щетина. Ни разу не было у него нормального фото в профиле. И вообще ни у кого из курьеров нормального фото не было. Делали селфи на месте как попало. Парень открыл вкладку с сегодняшними заказами, глянул мельком на время: четвертый час дня.

Начал считать: «Почти шесть часов на слоте. Так. За это время доставил восемь заказов вроде. Да. Так. Первые три были из "Перекрестка" — два мелких по 70 рублей и третий с перевесом и

доплатой за километраж, 108 рублей... плюс 254... получается 502. Потом «кейэфси»... $502 + 101 + 61 = 664$... плюс 92... это будет 756. Последний... недалеко и мало... где-то рублей семьдесят... $756 + 70 = 826$. Кисло. В понедельник всегда кисло. В выходные за это же время можно спокойно взять 1500. Так... завтра от этой суммы придет всего половина. $826 : 2 = 413$... Надо будет купить картошку в «Пятерочке», где-то 30–35 р. за 1 кг; 2 кг картошки ≈ 70 р. Колбаса ≈ 230 р. Хлеб. Хлеб = 35 р. И Даше на глазированный сырок. Или он 40 р.? Если 40 р., можно взять 50 р. со стипендии, будет ей два сырка по 40 р. На стипендии не помню сколько... где-то... да, ≈ 480 р. Стоп, там еще по зарплате было... в среду, через два дня, остаток... еще 363... там в выплате висит 2043 р. $2043 + 363 = 2406$... Если добить завтра хотя бы 600 р., можно будет отложить 1000 р.».

Увлекшись счетом, Кирилл не заметил, что светофор уже показывал зеленый, и опомнился только, когда какой-то лысый мужик, проходя, зацепился плечом за руль велосипеда. Курьер помотал головой, возвращаясь к насущному, и крутанул педали, не убирая телефон в карман. Поспешил, хотел проскочить за пять секунд и умудриться объехать скопившуюся, как всегда на переходе, толпу. Но слишком плотно люди стояли, и слишком медленно они шли. Водители вдогонку Кириллу сигналили...

Даша сегодня утром перед институтом неоднократно повторила, пока он стоял в дверях: «Люблю тебя!» Кирилл отвечал взаимностью и не мог выйти, не насмотревшись и не наговорившись. Хотел на весь день ее нарадовать, за ночь и завтрак, думал, не успел, думал, что сказал недостаточно.

Они проснулись с трудом, на второй будильник с пятью минутами сверху. Он мычал, расталкивая девушку, она мычала, не желаю вставать. Темные волосы закрывали заспанное лицо, Кирилл находил это милым. Он поставил чайник, сделал два бутерброда с ветчиной и сыром, оба положил на обеденный стол. Даша пока одевалась. Себе Кирилл налил лапшичного супа с пупком¹, поставил греться.

Девушка вышла в широких домашних джинсах, желтой футболке с пятном, заспанная, и, сладко зевнув, села. Улыбалась, довольная, в предвкушении вкусного завтрака.

— Как спалось? — спрашивал Кирилл, наливая девушке кипяток. Она любила горячий чай без сахара.

— Не выспалась... — вздохнула она, потирая веко кулачком. — Сон такой снился, ужас. Проснулась — не помню уже.

¹ Вареный куриный желудок.

Парень поставил рядом с девушкой чай. Себе стал насыпать кофе «три в одном», залил кипятком, кинул чуть сахара со столовой ложки. И суп успел согреться.

— А мне ничего не снится, — поделился Кирилл, поднося свой завтрак к столу, и признался: — Сегодня как-то и не спал почти, че-т думал.

Отпил с шумом из кружки. Даша умильно улыбалась и наблюдала. Ласково проговорила:

— Ты слишком много думаешь всегда.

— Хех, ну, типа...

Ели, смотрели друг на друга и молчали. Впереди ждал день. И день обещал быть напряженным...

В ресторан приехал вовремя. Тыкнул в приложении «На месте», пристегнул велосипед к лавочке у входа, зашел. Обстановка «косила» под Азию: иероглифы из японского и китайского, пластиковые люстры в виде красных бумажных фонариков, арты с пандами на стенах, декоративный бамбук в центре помещения служил перегородкой. Здесь любили сидеть подростки большими и не очень группами, заказывали пиццу и роллы темпура на карманные деньги и тратили по тысяче на человека. И чем ближе вечер, тем больше их набегало.

Места и так было мало, но к пяти часам за столиками сидело порядочно народу. Проходя к кассе за выдачей, Кирилл чуть не задел сумкой голову одной посетительницы, школьницы лет пятнадцати (с подругой под боком), и извинился опять же вполголоса.

За кассой стоял парень-кавказец, полный, с рыжеющей бородой. Покручивал от скуки монетку на столешнице, поддерживая голову рукой. Через шею был накинут фартук, обвязки на нем висели и качались — так, форма для проформы.

— Здрасьте, мне заказ забрать, — обратился Кирилл, стаскивая с плеча термокороб.

Кассир достал из-под прилавка терминал, ввел что-то.

— Сумма заказа? — спросил он, не глядя на курьера.

Кирилл полез в карман за телефоном.

— Щас, секунду... — вынул, включил, зашел в приложение. Только сменился экран, пришло уведомление: «Пройдите фотоконтроль сумки, доступ временно приостановлен». — Блин... э-э-э... тысяча двести шестьдесят девять.

Потыкав терминал, бородач выдал:

— Заказ в процессе, минут пятнадцать еще.

— Ага, спасибо, — вздохнул Кирилл, нашел глазами свободное место — высокий стул у стойки с бамбуком.

Закинул короб под ноги, сел, телефон положил на столешницу рядом с солонкой. Глянул мельком статус — действительно «Собирается...». Кирилл сложил руки перед собой, уронил голову лицом вниз. Ждал оповещения. Так всегда: торопишься успеть по таймеру, а ресторан еще готовит и будет готовить минут двадцать, приложение успеет и об опоздании уведомить. Хорошо хотя бы, что за долгую готовку в кафе не штрафуют доставщиков.

От нечего делать стал листать меню. Смотрел на цены: два самых дешевых ролла — сто сорок рублей за сто грамм. И называли они их не «роллы», не «сushi-роллы», а именно «сushi», хотя суши — совсем другая штука. Самый дешевый сет — «классический» за тысячу пятьдесят, весом полкило. Кроме риса, водорослей и кубиков рыбы, внутри ничего в этом сете не было. Все казалось Кириллу аппетитным, хотя он вовсе не любил роллы, они были больше по Дашиной части. Но после завтрака он сегодня не ел, живот крутило, и реклама начинала на него действовать.

Влез зачем-то в заказ. Там можно было посмотреть, что заказал клиент, в каких количествах и на какую, собственно, сумму. Да, на тысячу двести шестьдесят девять рублей, сет «Самурай». Чуть больше, чем полкило запеченных роллов. Нет, ему такое не по карману.

Захотелось Кириллу на имеющиеся деньги купить хотя бы один сет, самый простой, принести Даше домой, она бы обрадовалась. Было бы чем утешать, если что. Но денег жалел, боялся потратить сразу все (а это с ними случалось нередко) и сожалеть потом, зашиваться с голоду. А когда стало бы совсем невмоготу, пришлось бы звонить родителям, что они делать не любили.

Кирилл представил, как сообщает свой матери о ситуации. Мямлил бы, точно мямлил, ходил бы вокруг да около, придумывал, как бы поделикатнее сказать, а мама бы за это время с ума сошла, строя в голове догадки, во что такое ужасное мог вляпаться сын. «Мам... Даша беременна...» — все, на что бы его хватило. Парень видел эту картину. Он звонит. Мама отвечает. Он говорит эти слова, по ту сторону пауза, потом разгон, от непонимания до расспросов, и долго, упорно она будет узнавать, как это могло случиться, предохранялись ли они, и если нет, то чем думали, чем он думал. Приедет. Вживую, лицом к лицу обсудить. Она такая маленькая, стареющая, в чистом и аккуратно гладженном, приедет, приготовит что-нибудь, за стол всех посадит, сама будет пить чай стоя и стоя же начнет говорить, что и как теперь делать. Попутно отчитает много раз. Потребует ребенка оставить, скажет, что будет помогать своей агрономской зарплатой, и помочь эта будет

хуже, чем если бы она отреклась от него, потому что не будет ни одного дня, когда она не скажет: «Надо было думать! Надо было так! Надо было не так!» Но он, Кирилл, как-нибудь переживет это, чего не скажешь о Даше. Она вполне ладила с его мамой, но, если случится такое, мама обвинит во всем девушку, скажет, что та загребла бедного парня и села ему на шею. Нет, даже не так. Мама так никогда не скажет. И, может, даже не будет так думать. Но Даша — будет. Обязательно будет. Будет чувствовать себя обузой, виноватой в том, что все вышло так, как вышло. Что она испортила им жизнь.

С ее родителями будет еще хуже. Даша этого просто не выдержит. Ее отец — мужик-мужик, работает всю жизнь не покладая рук на радиозаводе. Человек он обычно немногословный, но дочь для него — дело особое. Кириллу он бы, пожалуй, голову не оторвал. И вообще ничего ему не сказал бы, зато сказал бы Даше. Он всегда вмешивался в жизнь дочери как только мог, не хотел оставлять ни на минуту, постоянно звонил, обсуждал каждое ее действие, не мог не лезть с советами, которые больше походили на назидание, говорил вещи вроде: «А ты вообще старалась, Даш?» Держал и не отпускал. А мать соглашалась с ним. Приезжала в гости, наводила порядок за Дашей, а девушке из-за этого казалось, что она плохо убралась, приложила недостаточно усилий, хотя она вымывала каждый сантиметр и убивала на это весь выходной. Если Даша позвонит родителям со словами «Пап, мам, я беременна», они не оставят ее в покое. Тоже будут требовать оставить ребенка. Предложат отдать его им, пока Кирилл и Даша будут доучиваться, будто это не живой человек, а какая-то кошка. И парень не преувеличивал, такой разговор действительно шел, он как-то подслушал девушку и ее отца на кухне. А ведь заберут. И всю душу выжрут, потому что Даша «покажет свою безответственность» этой беременностью. Не будет жить. Деньги, может, будут, хоть сколько-то, а жить — нет...

— Доставка, тысяча двести! — гаркнул бородатый кассир, поставив пакет с роллами на стойку, и поспешил обратно на кухню.

Тут же и в приложении сменился статус на «Готов к доставке». Кирилл взял телефон, перетащил сумку поближе к стойке выдачи. Сложил заказ, накинул короб на плечо и двинул на выход. Задел стул у самой двери так, что тот грохотнул, благо там никто не сидел.

— Простите, — буркнул Кирилл, потирая пальцами веки, и закрыл за собой дверь в кафе.

Глянул адрес. Иди на Пирогова, совсем рядом, в район брежневок. Один переход через улицу, минут пять пешком, не то что на колесах. А приложение почему-то выдало все восемь.

Не торопясь, Кирилл отстегнул велосипед, затем достал из бокового кармана литровку воды, отпил. Заглядевшись на прохожих. Возникло желание что-то сказать, но рядом не было никого, оставалась только толпа и люди из толпы. Вздохнул, убрал все, сел и поехал к назначенному месту.

«Может, после этого домой поехать...» — подумал Кирилл, крутя педали.

Двор был сплошь засажен каштанами. В начале сентября листва их уже желтели, и Кирилла, когда он заехал во двор, переклинило. Только что все было зеленое, а здесь — осень. В центре двора на огороженной площадке гоняли в футбол дети. Собаки с бирками на ушах стаей в четыре морды бегали вокруг сушилки из четырех жердей и натянутой на них проволоки. Кто-то на этой конструкции даже развесил вещи. По-над стенами росли какие-то полуздичные цветы, над ними нависали иссиня-зеленые, сиреневые кусты, перекрывая окна первых этажей.

Подъезжая, Кирилл чуть не зацепил пробегавшую мимо кошку. Затормозил, не удержался и чуть не упал на бок, вовремя ногу выставил. Ругнулся. Оставалось метров тридцать, и Кирилл решил слезть с велосипеда и пройтись.

У нужного подъезда заглянул в детали заказа. Был указан адрес, подъезд, но без этажа, а в комментариях написано: «По домофону не звоните, звоните на номер: 8-938-***-**-**, я спущусь». Кирилл тыкнул на значок телефонной трубки, бот предупредил, что для повышения качества обслуживания все разговоры записываются, и дал гудки. Ответили быстро.

— Алло, слушаю! — женский голос в трубке старался перекричать ветер.

— Здравствуйте, это доставка! — тоже повысил голос курьер. — Я стою у подъезда, было указано позвонить на номер!

— А, да-да! Хорошо! — голос прервал жуткий скрежет напора воздуха прямо в динамик, такой резкий, что парень отдернул телефон от уха. — Я задержусь... минут десять... скоро буду!

— Хорошо! — отозвался Кирилл и завершил звонок.

Приставил велосипед к стене, сумку устроил рядом, а сам сел на ступени, уткнулся в телефон. Даша ему написала.

16:21 — У меня пары кончились, я домой. Я их все нафиг проспала на парте. Блин, мне такой сон снился. Будто я трижды опоздала на такси и у меня рейтинг в Яндексе упал. На четвертый

раз меня не хотели брать таксисты, а я вся в пла-
тье в универ хотела поехать. Странно

16:26 — Интересные у тебя сны!
16:26 — Преподы не ругали хоть?

16:27 — Да им самим пофиг!)))

Общались еще минут десять. О всякой ненужной чепухе говорили, об учебе, о еде, о Дашиных подругах. Про себя Кирилл считал, сколько ей примерно понадобится времени, чтобы доехать до квартиры. И сколько сам он будет топать обратно. В любом случае она возвращалась домой раньше.

«Нет, все, пойду домой!» — решил Кирилл и поспешил, пока не дали новый заказ.

Зашел в приложение и нажал «Завершить слот». Оставалось только отдать заказ женщины-опозданке.

Ждал еще пять минут. Десять. А «Вручение» все стояло. И вот высветилось, что он вручает заказ слишком долго. Не выдержал, позвонил еще раз. Женщина сказала, что только сошла на остановку и уже бежит.

Кирилл сидел и переживал. Боялся, что ему сделают перерасчет, а перерасчет — это все равно что штраф. Можно и залететь в долг, и пришлось бы тогда платить уже самому. Он не знал, какие санкции ждут его за долгое «Вручение», зависит ли это от клиента, или система все делает сама, или вообще за это не наказывают. Не хватало еще в такой момент остаться без денег. Сколько за такое могут слизать? Пятьсот рублей? Тысячу?

А если ребенок, то без денег будет невозможно. Эта мысль сковала парня, он уперся лбом в кулаки, скрипнул зубами. Горло перехватил болезненный спазм. Обходиться случайными заработками будет просто глупо, эта доставка — даже не полноценная работа, а так, шабашка. Нужно будет спросить у куратора насчет индивидуального плана. Поспрашивать о свободных местах по городу. Найти что-то по специальности. Неужели никому в городе на шестьсот тысяч человек не понадобится юрист? Юрист... а ведь может и не понадобиться. Может просто не найтись нормальная работа. Это в девяностые нужны были юристы и экономисты, а сейчас кому это надо? В полицию, да и вообще в органы, его не возьмут — у отца судимость. Адвокатом? Смешно. Кирилл силился придумать еще какую-нибудь профессию, но не мог. Можно было еще пойти в школу вести обществознание. Денег будет не так много, но это будет честно и наверняка. Репетиторствовать сверху можно,

вокруг много старшеклассников, которых нужно готовить к экзаменам. Тогда точно не умрут с голоду. Если там... А если на это нужно педагогическое образование? Если в школу просто не возьмут без профиля? Но что-то у них в вузе про это говорили, вроде и без этого возможно устроиться, просто курсы пройти. А курсы, наверное, платные... Но без работы все равно нельзя. Даже если по образованию некуда будет, просто нельзя без денег, нельзя без денег, нельзя без денег... У мужа двоюродной сестры есть вакансия на радиозаводе. Он предлагал Кириллу работу на лето — сварщиком. Сорок штук, говорил. И просто на работу зазывал — им нужны усидчивые, которые могут долго делать простую работу. Говорил, что там, на месте, и варить учат. Если так, то можно прийти с нулем и с нуля разогнаться до нормальной зарплаты. Только работать много, с восьми до восьми, но для него это не страшно. Будь возможность, Кирилл и в доставке работал бы так же... но на такую работу его никто с учебы не отпустит, не могут выдать индивидуальный план на не-профильную деятельность. А кто захочет на заводе хлопотать ради мелкого рабочего, который, вполне вероятно, надолго не задержится на месте... но, может, получится договориться... куратор подсуетится... письма, обращения какие-нибудь...

— Простите, это вы доставка? — обратились к Кириллу.

Парень сжался от неожиданности так резко, что в животе что-то подскочило и тут же упало обратно. Перед ним стояла женщина средних лет, в официальном костюме — рубашка, галстук, приталенный жакет, узкая серая юбка. Из черной сумки торчала красная папка с документами.

— Да, доставка, — опомнился Кирилл, взялся за термокороб. — Вы из «Пандамаркета» заказывали?

Только сейчас он заметил за спиной женщины ребенка лет шести в кепке с Железным человеком, плотной ватной кофте и подвернутых узорчатых джинсах.

— Да, я оттуда заказывала, — закивала женщина. Затараторила, роясь у себя в сумке: — Вы извините, пожалуйста, что так долго, я забирала сына из садика, а у них собрание было... вот, держите!

Она протянула Кириллу, обеими руками державшему пакет с роллами, пятьсот рублей. Курьер поначалу не понял, а когда понял, замялся. Ему ни разу за год не давали чаевых.

— Максюш, возьми у дяди пакет, — попросила женщина ребенка.

Тот вышел вперед, заторопился взять у парня заказ, Кирилл растерянно отдал.

— Возьмите, я вам столько неудобств причинила...

Кирилл промычал что-то невнятное в ответ, взял купюру и сбивчиво заговорил:

— Да не, все хорошо... спасибо... приятного аппетита!

— Хорошего дня! — пожелала, улыбнувшись, женщина, поправила сумку на плече и махнула сыну: — Пошли, Максюш. Скажи дяде «до свидания».

— Спасибо, до свидания! — размашисто, почти кланяясь, кивнул ребенок и побежал вперед матери к подъезду.

Кирилл убрал пятьсот рублей во внутренний карман олимпийки и, пока боролся с лямками короба, невольно проводил клиентов взглядом. Мальчик радостно забежал в темный подъезд и слился с тенью ближе к лестнице, а мама прикрывала за собой тяжелую железную дверь, чтобы не шуметь. Кирилл постоял немного, что-то его взволновало и никак не могло успокоиться. Он вытер ладонью лицо, вздохнул, достал телефон. Отчитался, что заказ доставлен. Приложение минуты две грузило и выдало наконец: «Не на слоте».

В Телеграмме отписал Даше, она была онлайн:

17:01 — Я закончил

17:01 — Еду домой

Она тут же ответила:

17:02 — О, здорово!)

17:02 — А я только-только зашла.

Тебе что-нибудь приготовить?

Стоял и думал, что бы ответить. Ему ничего не хотелось. Ни есть, ни пить, ни ходить, ни думать. Он хотел прийти домой и узнать наконец, что там с этими несчастными тестами.

Отписал:

17:05 — На твое усмотрение)

Взял велосипед, выкатил его за двор, сел. И поехал домой.

К дому Кирилл приполз в полшестого вечера. Нескладный ЖК с красной облицовкой и светофором незастекленных балконов. Перегородки желтого, зеленого и красного цветов были случайно раскиданы по зданиям. Они с подругой снимали здесь, на самом юге города, почти у леса, однушку. Девять тысяч в месяц плюс коммуналка. Квартплату взяли на себя родители, Кирилл с Дашей платили только за свет-воду. Газа во всем комплексе не было,

пользовались электрической плиткой. Дом в прошлом году сняли с ареста, не все еще было приведено в порядок. Поэтому квартира обходилась им относительно дешево.

Ноги двигались с натугой. Кирилл шел пешком, ведя велосипед за руль. За день колени умерли, больно было просто шагать, не то что крутить педали. Кое-как вывел велика к подъезду, уместил в лифте (благо приехал грузовой). Задержался у двери квартиры. Приложился лбом к красному железному ящику, где лежал огнетушитель. Он был чуть теплый. До боли вжался в металл и налегал, пока дверца не выгнулась с противным звуком «дым-м». Боялся заходить. Тревога давила на горло.

«Нам нельзя ребенка! — паниковал он, держа руки навесу и не зная, куда их пристроить. — Нам нельзя ребенка! Я люблю ее и ни за что ее не оставлю, но нам нельзя ребенка! Мы нищие, у нас ничего нет: ни работы, ни образования. Родители просто отнимут его, потому что мы слишком безответственные. Вокруг нас не мир, а дурдом! Цены взлетают до небес, людям плевать друг на друга, каждый хочет другого наколоть, война идет, в конце концов! Одному жить тяжело, вдвоем еще тяжелее, а ребенок... Как ребенок будет жить здесь? Как сейчас впускать ребенка в этот мир? Как растить его, если сам этому миру не доверяешь, если сам жить боишься?!»

Кирилл закрыл лицо руками. Вдохнул. Выдохнул. Еще раз. И еще раз. На очередном вдохе взялся за ручку. На очередном выдохе нажал на нее.

Кухня шумела кастрюлями, чайником и моющейся посудой. Пытаясь перебить звуки, доносившиеся из кухни, музыка из телефона, звучало что-то попсовое, но понять, что это за песня и какой группы, было невозможно, все слилось в гул. Кирилл занес в квартиру велика, поставил его к стенке и случайно прошелся колесом по обоям, оставив очередную черную отметину.

— Да блин... — проворчал Кирилл, стаскивая с плеч осточертевшую сумку. — Да-а-аш!

Она выскочила из кухни в одной (Кирилла) длинной футболке и фартуке поверх. Обрадовалась, увидев парня.

— А я не слышала, как ты вошел! — улыбнулась она, подошла и обняла. — Я тут решила тебе к пельменям еще супчик приготовить. Ты как? Устал?

— Да есть немного... — улыбнулся он и крепко прижал к себе девушку.

Постояли так чуть-чуть. Вдруг Кирилл отстранился, оперся спиной о стену, руки к бедрам прижал. Даша смотрела на него с

тревогой и ждала, что он скажет. А он понятия не имел, как о таком спросить. И обронил почти случайно, будучи уже не в силах что-то делать и о чем-то думать:

— Как тест?

Даша ушла в ванную, подняла со стула три узеньких картонки, вынесла в прихожую. Протянула парню. На каждом из трех тестов розовела одна полоска. Кирилл взял их в руки, долго и бессмыс-ленно разглядывал.

— Ну чего ты смотришь, папой ты в ближайшее время не станешь! — с обидой на такую никакую реакцию сказала Даша.

Она выхватила тесты, пошла выкидывать их в урну к туалетной бумаге и волосам из слива. Кирилл оглядел прихожую, всю чистую, бежево-серую, прислонился к стене. Кулаки его сжались. Видел он, что Даша стоит к нему спиной в проходе ванной комнаты, и старался сдержаться.

Думал: «Как же ты мне нервы выколебла! Господи, я не могу больше, я постоянно в работе и тревоге, а ты только и делаешь, что выносишь мне мозг и плачешь, хотя саматворишь всю эту фигню. Не ты ли мне говорила, мол, Киря, ну зачем тебе резинки, у тебя же от них не держится, и поэтому ты ревешь потом ночами, говоря, какая ты дура и как я тебя, такую дуру, брошу, а я не могу тебя, дуру, бросить, потому что хочу сломанные вещи чинить, а не выкидывать, потому что я чмошник и слабак, который не может ничего сказать прямо и который боится, что на него обидятся, а ведь надо уже говорить “нет”, кричать уже надо, потому что дальше только хуже, и если я продолжу молчать, то просто в какой-то момент выброшу из окна мордой в бетон, и тогда плевать мне будет на твои переживания, я просто сдохну, сдохну, сдохну, потому что я слабак, а ты истеричка и... и... и...»

Кирилл подошел к Даше, обнял ее сзади, поцеловал в макушку и сказал:

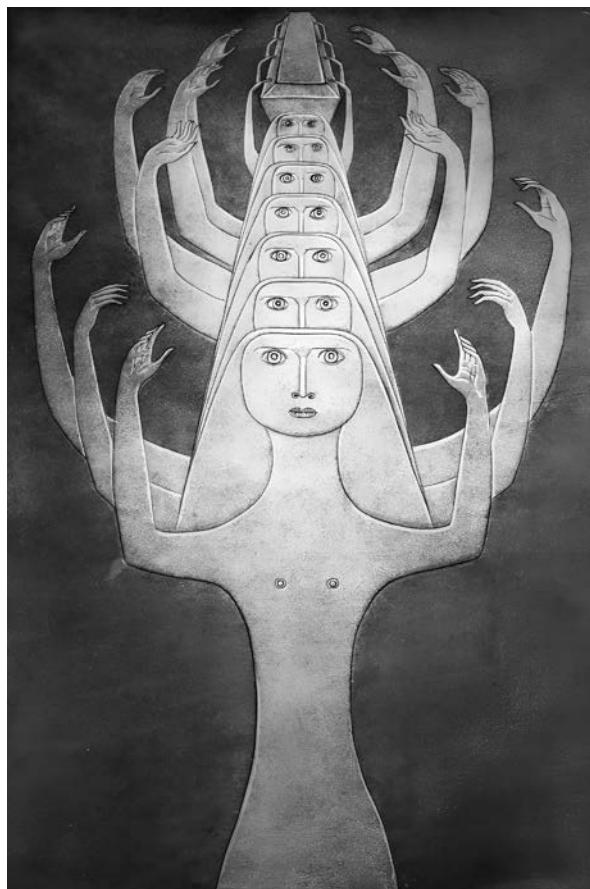
— Как я тебя люблю!



Саша АГУЗАРОВА

КТО И ОТКУДА Я

СТИХИ



* * *

Каждый день
для битвы земной и для битвы небесной

я больше не вижу лица твоего

если честно
себя в зеркалах не могу разглядеть
не собрать всех осколков

есть то что больше меня
то что больше тебя
например разрушенье

любовь моя
без числа
без конца
и без адресата

* * *

жизнь состоит из слишком привычных вещей
из слишком понятных предметов
из окон квартиры на теневой стороне
белой собаки редкой породы
ноутбука
работы
двух молчаливых людей

болезненных воспоминаний
банок дешевого пива

каждую ночь перед сном
веду каталог своих чувств
сначала вина
 дальше тоска и апатия
 ностальгия усталость
 много любви ни к кому
 к кому-то кто умер
 к кому-то кто далеко

в годах измерять расстояние
 как эмигрировать в прошлое
 как получить ВНЖ
 там
 где плохого еще не случилось

* * *

когда сказала однокурснику что в моем городе было всего
десять терактов
не так уж и много
по его округленным глазам что-то такое вдруг поняла
когда в Грузии вру соседу что я кабардинка
когда удаляю из этого текста разговор с тбилисским таксистом
потому что не хочу никого обидеть в том числе таксиста
когда мой друг в пятнадцать бежал с семьей через Лисри
а сосед был вынужден покинуть Цхинвал

когда шепотом в детстве он был в те дни в бесланской школе
и смотришь ему в глаза мальчику лет восьми светлому
золотовласому грустному
а на детских курсах журналистов у девочки там погибла семья

когда пьяные престарелые говнари на Арбате нас с подругой
назвали нерусью

когда дома ты наверно неместная а в Москве вай говоришь без
акцента

когда ходила из школы по следам от танковых гусениц
когда играли по малолетке на останках ингушского дома
когда в новостях драка в Чермене и почти молишься лишь бы
успокоились сами

когда наизусть знаю стихотворение за которое автор лишился
головы
прогулка с собакой мимо его могилы

когда опускаю глаза перед старшим мужчиной
когда знаю меня не пустят в Реком
когда кидаю монетки у дзуара
когда сто тысяч раз отвечаю на вопрос а вы не родственницы с
Жанной

когда мажу уалибах растопленным маслом
когда надеваю медальон со словом фарн
когда хочется рыдать от песни про Задалески нана

когда ты позоришь свою фамилию
когда я должна должна

когда пишу этот текст и дрожу от стыда
когда главное скромность и ненавижу себя

когда копирую из википедии букву æ

тогда я особенно отчетливо вспоминаю кто и откуда я



Зарема СТАШ

РЕЛЬСЫ-РЕЛЬСЫ, ШПАЛЫ-ШПАЛЫ

РАССКАЗ



Лобовое стекло периодически падало наземь. Машина шла по заданному пути — не сворачивая, объезжала квартал и возвращалась к исходному месту. Из нее медленно выходил водитель,правляя на голове большое приплюснутое круглое кепи, сплевывал, проверял, на месте ли болтавшийся на нем ремень, хотя, в отличие от стекла, он ни разу еще не упал, направлялся к стеклу. Стекло совсем не былобитым, вопреки ожиданиям глазевших на машину соседей. Водитель с большим трудом поднимал его и прикладывал на место, поглаживал нежно по нему пару раз, возвращался и садился в машину. Отъезжал на пару метров, стекло падало вновь. Водитель каждый раз надеялся, что наконец сейчас с установкой стекла по правилам получилось и оно не вывалится из машины при движении, и огорчался, когда понимал, что опять сделал что-то не так. Он вздыхал, ругался, высунувшись в окно, снова усаживался поудобнее за руль и катил вокруг квартала.

В квартале проживало много женщин, много мужчин, много детей. Словом, квартал был многолюден. Большинство из них были очень бедны, трудились тяжело, носили старую одежду, если плохо, так как подолгу не могли найти работу, торчали на улице в поисках удачи, хотя удача в основном обитала в других кварталах города, совсем не по соседству с этим. Добраться до них надо было на транспорте, потому что город был большой, и поскольку денег на транспорт у этих людей не бывало, удача на пути им встречалась крайне редко, чаще во сне.

Товарищи безработные глазели на безудержную езду мужчины уже в течение нескольких часов: с самого раннего утра он

пытался выехать на площадь Революции, но дальше квартала двинуться не мог — лобовое стекло держало его крепко. Первый раз стекло упало возле подъезда, из которого он вышел с восходом солнца. И подъезд был первым. Систематически стекло падало через несколько метров после его установления на машину и, соответственно, через несколько метров от места последнего падения, поэтому в этот раз оно упало уже возле третьего подъезда. Начало процесса, кроме водителя и женской головы, грустно глядевшей из окна четвертого этажа, не видел никто, потому что жители квартала тогда еще спали. Но постепенно они выходили во двор, так как больше делать им было нечего, и останавливались позабавиться новыми ощущениями. Люди не могли оторваться от этой казавшейся им игрой истории, но потихоньку от отсутствия движения у них затекали конечности, которыми они прирастили к своим зрительским местам. Здесь, возле третьего подъезда, случилось нечто, выбивающееся из канвы происходящего: после того как водитель подтянул свой отчаявшийся ремень, он медленно и задумчиво развел руками, почесал затылок, а потом снова все пошло по кругу и из очерченных рамок последовательности более не выходило. Люди громко ахнули и замолчали. Они молчали все время до вопиющего момента и все время после него, но только если раньше их лица были абсолютно спокойны и выражали несильный и подостынный интерес, то теперь, после такой явной неожиданности, люди были взбудоражены, некоторые — удивлены, некоторые — возмущены. Лица застыли в новых выражениях, они напоминали маски из древних трагедий, нескладным хором поющие негармоничную песню.

Время только начинало становиться летним, до сегодня часто дул прохладный ветер с гор. Теперь же тепло уверенно трогало тела застывших людей, поэтому торчать в ожидании развязки им было комфортно. Тем временем ничего не менялось — лобовое стекло падало, человек ехал. Транслируя ситуацию на другого обычного человека, можно было бы предположить, что у него должна была закружиться голова от непрекращающегося повторения, но этого не происходило — человек был неформатный или наоборот. Он решился уехать и уедет чего бы это ему ни стоило.

На всех дворовых была одежда, состоящая из двух элементов: на мужчинах — рубашка и брюки, на женщинах — рубашка и юбка. Верх был синий, низ — черный. На детях — то же самое, только низы у них были короче, чем у взрослых. Рукава у всех

были подкатаны, сандалии немыты, волосы у лиц женского пола собраны, у мужского — коротко стрижены. Иногда на одежде встречался шов коричневой ниткой, иногда — коричневая пуговица или заплатка. Люди хорошо смотрелись на фоне серых стен. Было тепло и пыльно.

Время шло незаметно, но с почтением к порядку — вечерело. Людей отпустило. На десять минут. Они сходили по своим нуждам. Вернулись и застыли снова. Отматывая события дня, в памяти своей они четко видели каждый автомобильный круг упорного человека, но как они их разделяли, было непонятно — круги ничем друг от друга не отличались. Попытка вернуть стекло на место было восемнадцать. Стекло так и не разбилось. Мужчина устал. Люди снова надели драматические маски и стали ждать разрешения ситуации. Ближе к темени маленькая девочка с косичками и синими лентами в них угостила каждого человека куском хлеба, испеченного ей самой. Девочка была кругленькая, хорошенская, ее синее платьице было испачкано мукой, от этого хлеб был особенно вкусным. Ее детские ладошки были теплыми и участливыми: весь день они трудились, чтобы накормить такую ораву людей. Люди, несмотря на всю благодарность, не могли выразить ее девочке, потому что они могли только жевать и следить за происходящим, даже когда машина была вне зоны досягаемости их взоров. Девочка понимала важность своей миссии и на глупости не разменивалась: благодарности не ждала, кормила от чистого сердца.

Девочка ушла, а за ней пришла ночь. Наперегонки на небе повыскакивали озорные звезды и тоже стали глядеть на странного мужчину внизу. Он утомился уже значительно. Ему очень хотелось убраться из этого квартала как можно дальше и хотелось очень давно, но он не решался. Эта добрая, хорошая женщина на четвертом этаже держала его. Нет, она не упрашивала его оставаться, не плакала, не кричала, не угрожала самоубийством — она просто была. Была очень долго рядом. Любовь между ними кончилась во времена, когда она стала носить новую прическу, которую он считал не той. Но прическа ей подходила, а он не мог этого понять. Вообще-то и прежняя прическа, если быть до конца правдивым, была тоже не той. Но она как-то маскировала его несамостоятельность и страх не сделать того, чего ждут от него большие люди. Сам он был маловат, чтобы встретить девушку с прической, которая была той. Любовь их была скучная и про страхи, и нелюбящие люди размякли в совместной жизни, как сухари в курином бульоне. Они находились рядом друг с другом,

забыв о своих мечтах и о том, что они на самом деле живут, а не мякишем плавают в связанных в одну жидкую массу жирных днях. Даже мякиш распадался. Он видел это так.

Она завивала свои волосы на бигуди. Ежедневно. Она не помнила, какая была у волос текстура от природы, она забыла себя. Может, она себя и не знала. Может, она была рождена для того, чтобы стать такой. А может, у нее был шанс. Но и шанс исчез. Мужа она держала крепко. Как только чуяла, что он смотрит в окно чаще положенного, опускала глаза и делала вид, что ей обидно и больно. На самом деле боли она не испытывала — только страх. Ей казалось, что жизнь может быть только такой, что другой жизни не существует, что за окном — пустота. Она, в отличие от супруга, ощущала себя живой, счастливой и активной, потому что ей казалось, что у нее крепкая и ценная для мира семья. Миру было плевать на эту семью, как, собственно, и на любую другую, потому что он и так хорош сам по себе.

Так и жили они долго. Но тем утром муж решительно напялил кепи на голову, прикрыв лысеющую макушку, и стремительно вышел на улицу. Ну как стремительно — молчаливые сцены длились минут десять, маялся он до их начала минут пятнадцать, спотыкался о плинтусы еще порядочно минут. Но в масштабе восемнадцать лет общего бытия эдаким суповым набором этот выход казался секундным фрагментом. На улице в нос его пахнуло плотным цветением и утренней свежестью, и шаг его стал увереннее. Он воодушевился, сев в машину и поехав, однако столкнулся с тем, что лобовое стекло упало. Ну и потом, сколько бы он ни ехал, лобовое стекло все падало и падало. И с этой проблемой он тоже столкнулся.

Благоверная неудачливого беглеца первые его три триумфальных круга последила за ним и отошла от окна — она не выспалась, так как накануне этого сложного дня смотрела допоздна любимый сериал. А эта неопределенность по ту сторону занавесок так вымывала. Она прилегла на кровать и забылась приятным сном о предстоящих покупках. Спустя минут сорок она встала, взяла соломенную авоську и спустилась со своего четвертого этажа. Ей нужно было идти в магазин. Незамеченной она прошмыгнула меж соседей и спокойно ускользнула из квартала. В авоське ее были три новых паспорта и пачка денег. В квартал она больше не вернулась.

В какой-то момент после наступления ночи мужчина стал путать последовательность своих действий. Забывал поправить ремень и два раза проехал мимо лобового стекла. Тогда он понял свою ошибку, остановил машину и заснул, склонив голову на руль,

потому что управлять автотранспортным средством настолько вымотанным никому не под силу, даже если очень хочется выбраться. Понимающие зрители потихоньку вернулись в свои квартиры, только самые любопытные с пивком недолго еще посидали на лавочках, а потом тоже пошли отдыхать.

Утром все возобновилось. Только за рулем оказался другой человек. Он был моложе, с волнистыми волосами и горящим взглядом. Он выбежал с четвертого этажа стремглав, на ходу завязывая ботинки. Женщина боязливо выглядывала из окна и теребила занавеску. Периодически она отходила от окна и опускалась на колени — молилась, чтобы парень уехал скорее — в голове звучал искаженный телефоном голос не ко времени возвращавшегося из командировки мужа. Но ее машина, за рулем которой сидел паренек, все время теряла лобовое стекло. Парень, обезумев, объезжал квартал, возвращался к лобовому стеклу, выходил из машины, приглашивал взъерошенные волосы, беззвучно смачно ругался, вправлял стекло на место, садился в машину и ехал. Через пару метров лобовое стекло падало вновь. Парень бил левым кулаком по рулю и ехал вокруг квартала. Соседи стояли кругом и смотрели на забавного парня с ironией, потому что он был им незнаком и сочувствия не вызывал.

Сегодня стало жарче. Ветра не было. Начинало перегревать. Парень потел и злился. Женщина на четвертом этаже молилась. Люди пересмеивались и ждали развязки. В 14:18, когда тепло достигло своего пика, женщина на четвертом этаже взвизгнула, увидев возвращавшегося из командировки мужа. Он подозрительно смотрел на беззвучно чертыхавшегося парня, выходящего из красной машины его жены, и искренне не понимал, почему тот не ругается в голос, а еще — что делает он рядом с этой машиной. Потертый портфель, с которым он обычно ездил в командировки, своей ручкой тянул его за руку скорее домой. Его жена видела, что дело пахнет керосином. Ей более не оставалось ничего, кроме как вылитить керосин от греха подальше в раковину и спешно изменить прическу. Когда ее муж вошел в дом, он увидел другую женщину, не ту, что была раньше. Он ее не узнал, но выгнать побоялся. Он, признаться, с самого начала подозревал, что прическа его супруги всегда была не та, но он был недостаточно настойчивым, чтобы противиться циклично повторяющейся истории этого мира, где есть свои правила, которым нужно подчиняться. В 14:27 прическа незнакомки стала не той критично, до крика в горле, который так и не прорвался наружу. При выходе изо рта планировавшийся

звук сделал болезненное движение вспять, развернулся и залег на дно человека, растерзав его внутренние покои до крови, пока шел вниз. Мужчина с тех пор разговаривал исключительно по делу: каша пригорела, ковер истерся, гвозди пригодятся, выбрасывать не стоит. Иногда он дольше среднего смотрел в окно, но тогда незнакомка почему-то обижалась. Прическа у нее, конечно, так себе, но обижать женщину все же не стоит.

Парня с кудрявыми волосами надолго не хватило. После седьмого падения лобового стекла он расплакался. Дворовые зло смотрели на него, ухмылялись на его бессилие. К тому времени девочка в синем платье несла им на подносе горячий хлеб. Люди начали увлеченно жевать — было вкусно. Незаметно для толпы девочка подошла к парню, обвязала его руку вытянутой из своей косы синей лентой и с ее помощью вывела его со двора. Вернувшись, она захлопнула дверь в машине, взяла поднос и удалилась в свою пекарню. Не обнаружив молодого неудачника в машине, соседи разбрелись по домам.

Светало. Женщине с четвертого этажа не спалось. Она чувствовала, что ее жизнь словно стала жизнью чужого человека. Ей было сложно смотреть на своего спящего супруга. Он хрюпал. Она это ненавидела. Ее нервы отказывались смиряться, а муж отказывался лечить свой нос. Она не знала, что ей делать. Второй комнаты в их квартире не было — ей некуда было перелечь. В целом в семье ее все устраивало. Муж был простым, незатейливым, всю получку нес домой, болячки свои тоже лечил дома. Она готовила суп и яичницу сносно, он иногда хвалил. Все было у них довольно хорошо. Выглядела она тоже неплохо, только подозревала, что у нее что-то не то с прической. В последнее время, однако, после внезапного злого пробуждения от храта мужа, она все чаще пыталась вспомнить, почему они поженились и в какой момент ее прическа стала не той. Так продолжалось неделю. Муж хрюпал, жена думала. Этим утром, опять не получив ответа на вопрос о прическе, она вскочила с кровати, скоро оделась в домашний халат и выбежала на улицу. Она помчалась к парикмахеру: носить такую прическу далее было невозможно. Маленькие крыльышки, растущие из-под ее лопаток, подбрасывали ее, придавали скорости. Она запрыгнула в свою машину и уверенно повела. Ей хотелось прическу как у Мэрилин Монро. Она знала, что прическа имеет значение. Она проехала пару метров вся в мечтах, но лобовое стекло упало с машины. Женщина — это вам не мужчина. Она вышла из машины абсолютно потухшая, села возле стекла и стала плакать —

она решила, что это плохой знак: теперь, понимала она, прическа как у Мэрилин Монро ей светить перестала. На ее плач потянулись соседи, но близко к ней подойти никто не рискнул: кому в таком квартале нужны чужие слезы? Зато, как положено, наличном расстоянии они ее обступили. Она даже не глянула по сторонам, так как знала, что никто не поможет, сама потащила стекло к машине, чтобы кое-как вернуть его на место. Она тщательно скрывала, что ей тяжело, скрежетала зубами, рук не опускала. Садилась в машину и ехала вокруг квартала, роняла стекло, ехала, устанавливала его на место, роняла, ехала. Она совсем перестала улыбаться, не включала даже музыку на любимой шарманке, ехала, плакала, скрежетала зубами, держалась.

Ее муж проснулся, когда выспался. Не понял, куда подевалась его благоверная, но, поскольку необычного в их жилище не водилось, не стал даже задумываться над тем, где она сейчас, в окно выглядывать тоже не стал, потому что смотрел в него, особенно дольше обычного, лишь тогда, когда жена была рядом. Он пошел на кухню, разогрел недоеденный вчерашний ужин и позавтракал им. Потом вернулся в спальню, включил телик и стал смотреть — выходной, время отдыха. Он лежал на диване в трениках и майке, а жена его в очередной раз рыдала над падающим лобовым стеклом.

С наступлением вечера женщина перестала плакать. Остановила машину, не доехав до лежавшего на асфальте лобового стекла. Вышла из машины, не прикрыв дверь. Люди перед ней расступились. Она вошла в соседний со своим подъезд, поднялась на второй этаж, постучала. Ей открыл Михаил. От него она сделала два звонка: первый — мужу и, когда убедилась, что тот не встревожен, второй — молодому малознакомому человеку. Поблагодарила Михаила за возможность позвонить и, тихая, вернулась домой. Когда она переходила из одного подъезда в другой, брошенная машина сально подмигнула ей фарами. Машина так иостояла всю ночь во дворе открытая. Никто из соседей в нее не сел.

Следующим утром машина стояла пустая. Лобовое стекло валялось неподалеку. В квартале была тишина. Соседи сидели по домам, ели вареную картошку. Маленькая девочка с синими лентами отдыхала от непосильных хлопот последних дней, играла в куклы.

Вечером стало душно, немножко даже липко, зрело новое движение во дворе. Будто именно сейчас творилось волшебство, время еще более отчетливо становилось реверсным.

Мужчина в кепи, помятый, встретил вторник за рулем автомобиля. Он выспался, но был разбит — пойди проведи столько

ночей в такой неудобной позе. Отросшая щетина угрюмила его лицо. Он очень хотел вырваться из этого двора.

Первым делом он пошел устанавливать лобовое стекло, в отражении которого увидел себя помолодевшим лет этак на дцать. Внезапно он стал вихрастым, с озорством в глазах и широкими плечами. В руках его все спорилось. Он разулыбался. Соседи вокруг тоже улыбались. Быстро починив лобовое стекло, принял от девочки с синими лентами букет цветов и зашел с ним в первый подъезд. И вроде настроение было приподнятым, но как только вошел он в темноту помещения, и сам потемнел. Он шел на свидание. И хоть неплоха была девушка, и хоть заставляли уставшая нервная мама и раздражительный жесткий отчим его жениться на ней, сердце его всячески этому противилось.

Девушка жила на четвертом этаже. Пришел парень к квартире, стучит. Выходит она. Простая хорошая девушка, стройная, приятно улыбается, пирог с мясом к его приходу готов, пахнет. И хорошо бы все, хорошо, но он смотрит на ее прическу и понимает — не та.

Парень опустил глаза, отдал цветы девушке и молча ушел. Как он сможет жениться на ней, если она носит такую прическу? Девушка от его ухода сильно не расстроилась. Она и думала-то о черноглазом Сережке из соседнего двора, когда пекла пирог с мясом, а не о нем. Как только вихрастый ушел, она тут же стала звонить Сережке с предложением отведать пирога, пока тот не остыл. Сережка с радостью согласился.

Молодой человек задумчиво спускался с четвертого этажа, спотыкался и тревожился, но, когда вышел на солнечный свет, глаза его снова заблестели. Сев в машину, парень стал насыщивать любимую мелодию сначала тихонько, потом на полную мощь, с душой. Жарило солнце, летали бабочки, лобовое стекло было на положенном ему месте. Людям, кучковавшимся в ожидании чуда, надоело целыми днями торчать на улице и наблюдать одну за одной упаднические зарисовки. Они махали довольному парню в надежде, что сменится веяние. Парень уверенно вырулил из квартала и поехал на площадь Революции. Он точно знал, что на этой площади полно девчонок и среди них обязательно есть кто-то с нормальной прической.



ДАРЬЯЛ



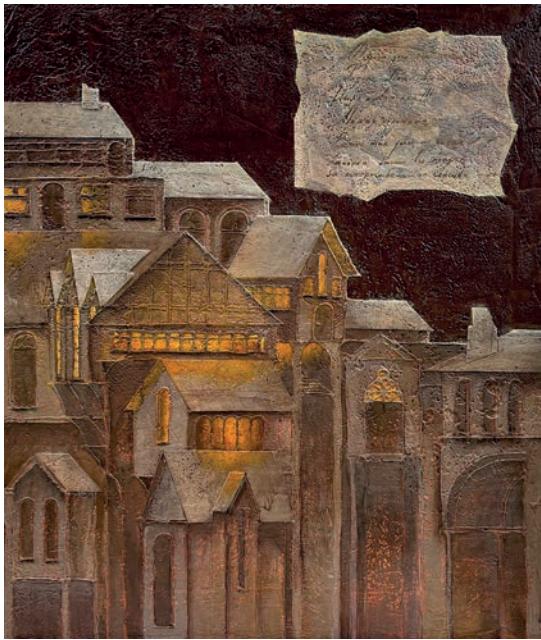
ЖИВОПИСЬ
5' 2025

Выставка молодых художников
в кафе-галерее «Парадная»

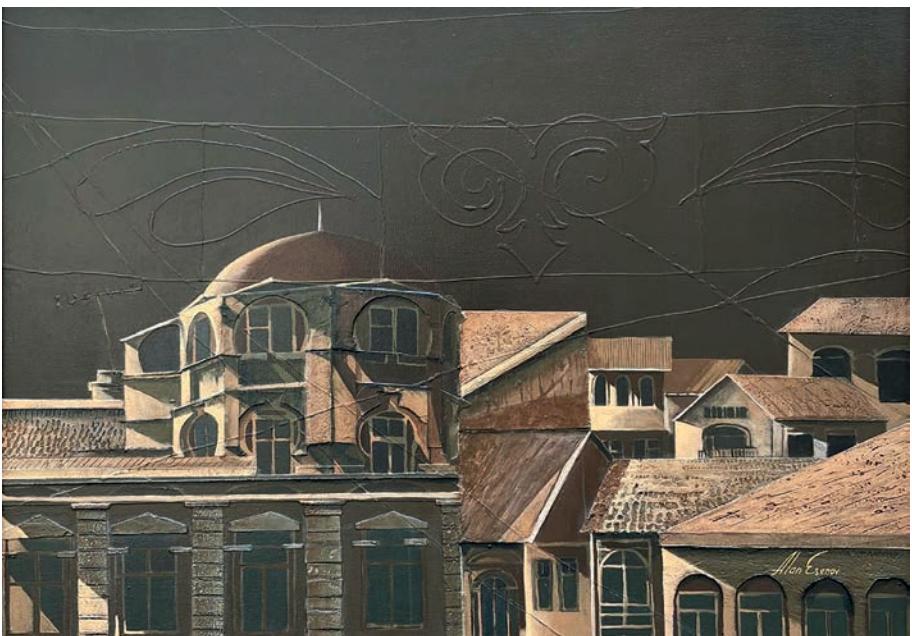


Алан Есенов. Эркер

Алан Есенов. Мятое письмо



Алан Есенов. Вечер



София Эль Мансури. Баскетболист



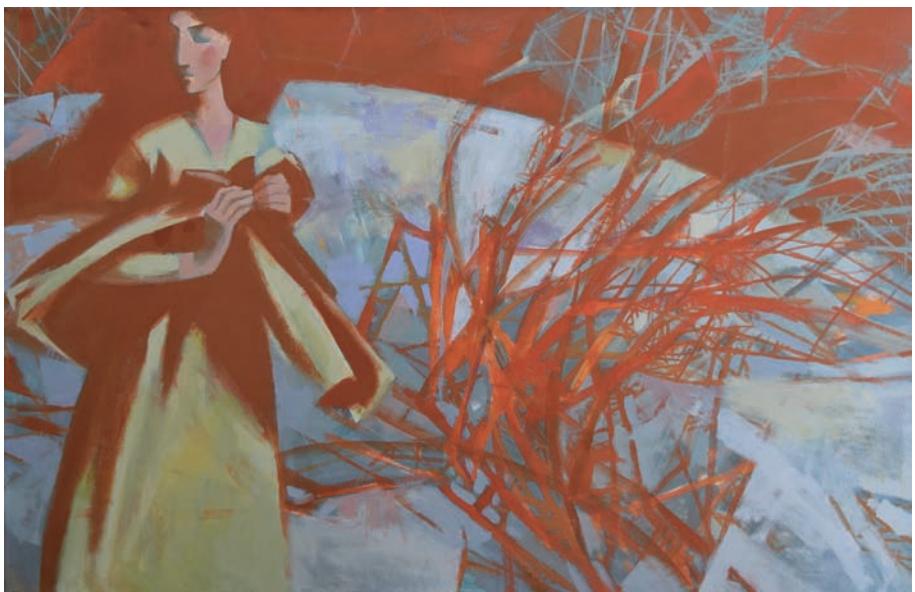
София Эль Мансури. Девочка



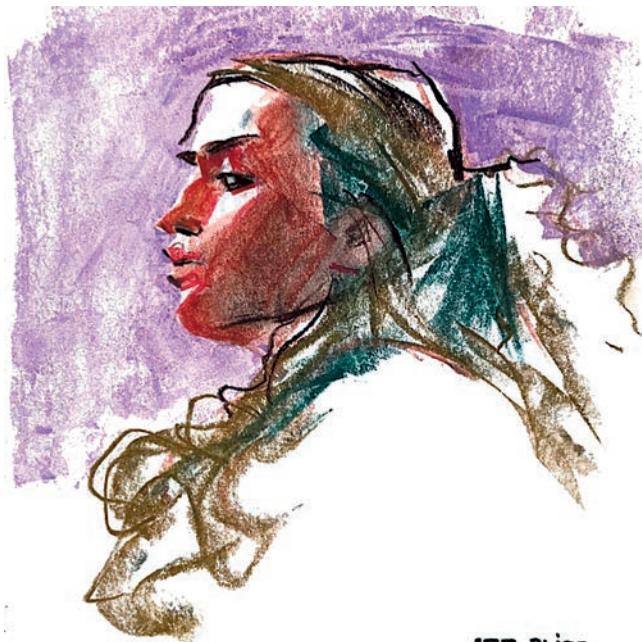
Мария Кокойты. Осенний виноградник



Мария Кокойты. Облепиха



Георгий Казиев. Элайна



JOE BLISS

Георгий Казиев. Перекур



Заур Темиров. Из серии «Традиционное коллективное бессознательное». № 1



Заур Темиров. Из серии «Традиционное коллективное бессознательное». № 3



Натали Кисиева. И он кричал: «Я все равно буду летать!»



Тоноян Эрик. Без названия



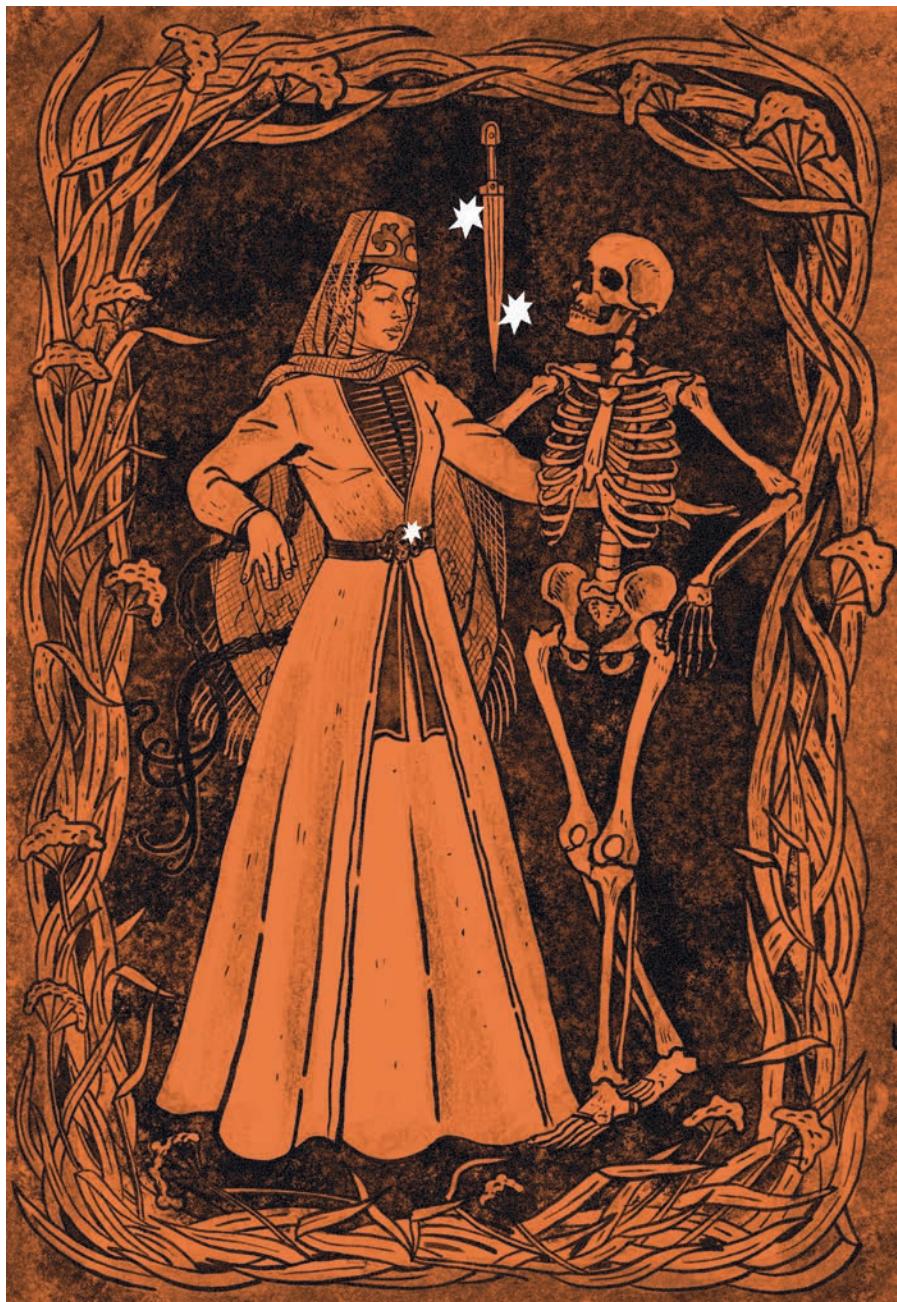
Аслан Хосаев. #123



Фатима Цопанова. Традиция



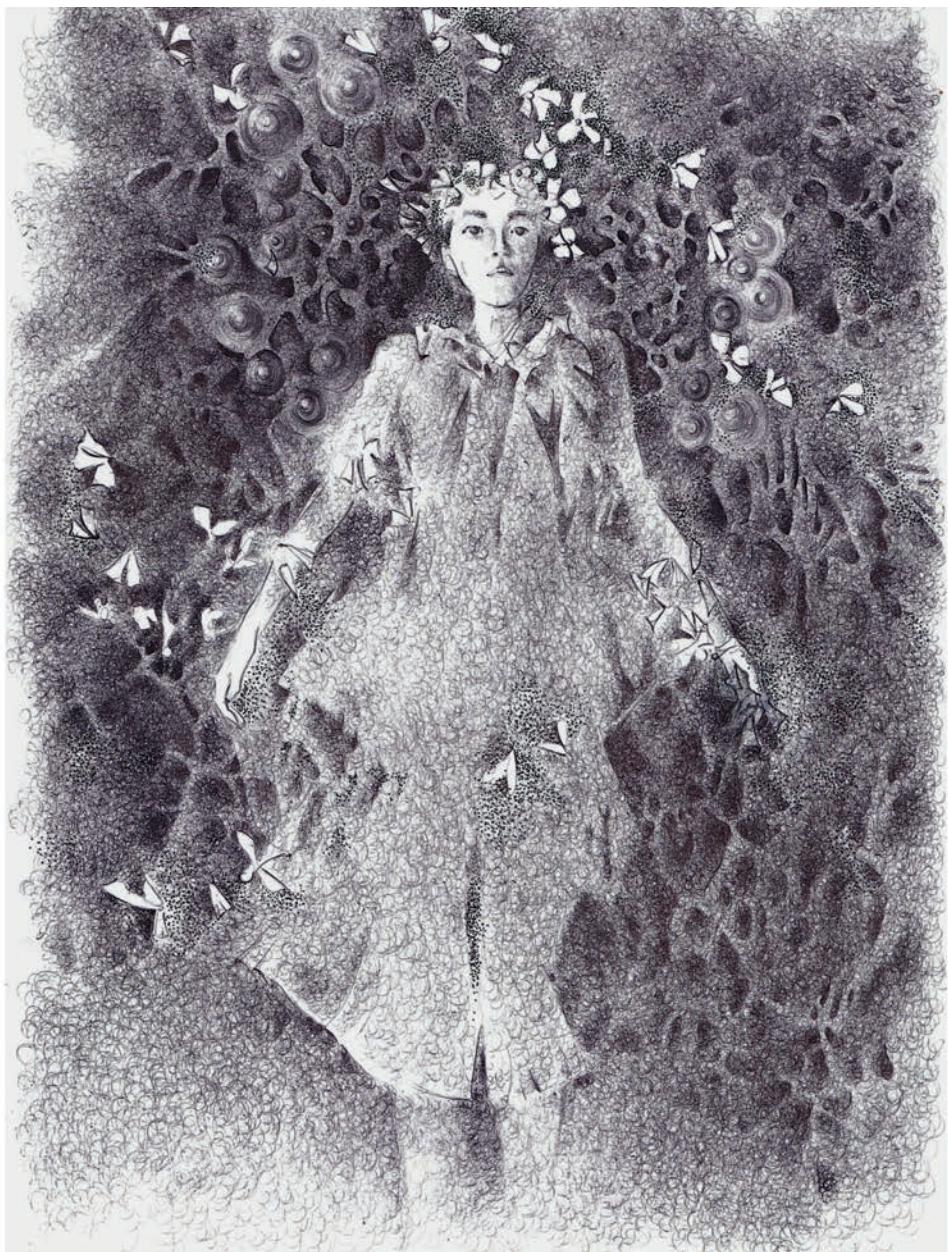
Фатима Цопанова. Танец



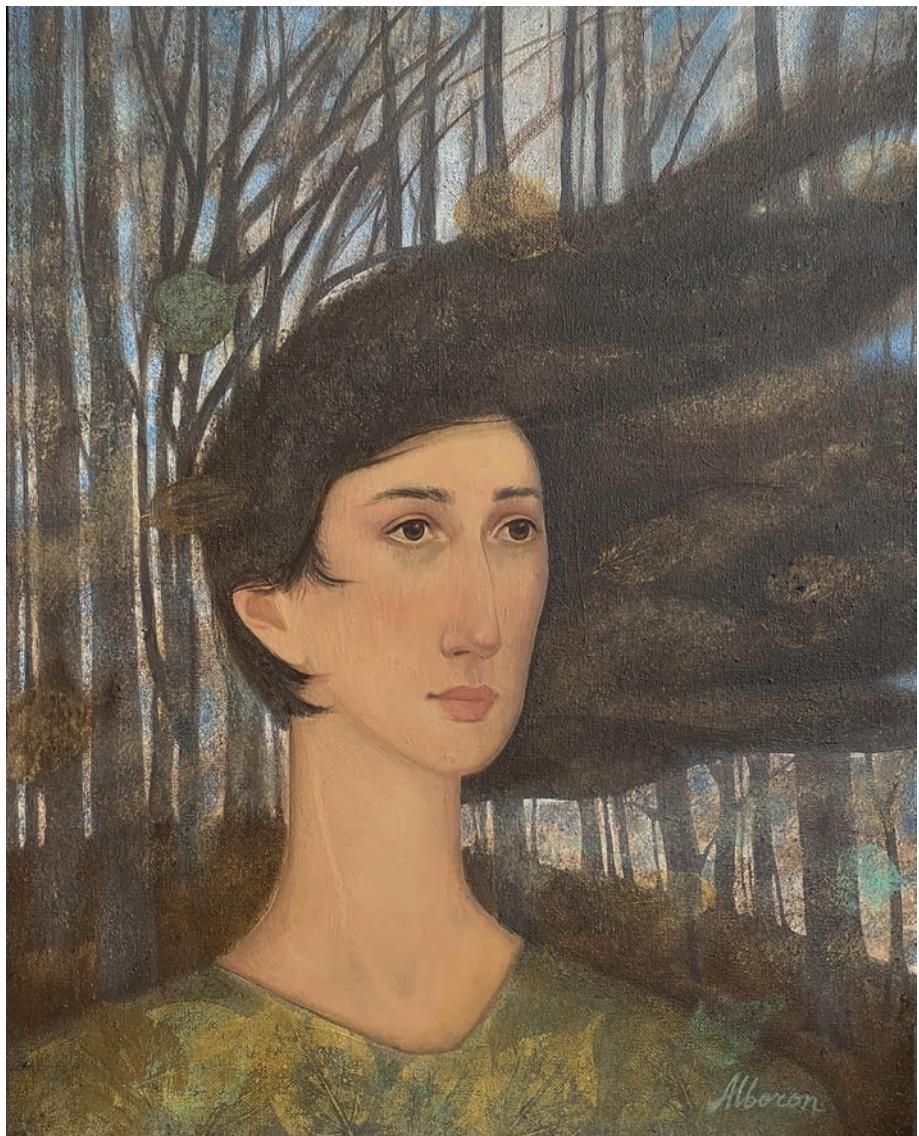
Даяна Дряева. Диалог Гамлета с совестью.
Иллюстрация к стихотворению М. Цветаевой



Даяна Дряева. Офелия



Анна Алборова. Порыв



Арсен Арутюнов. Без названия



Владимир Козаев. Без названия



АНТОЛОГИЯ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ

Елена КОВАЛЕНКО

* * *

Осень выкрасила леса
Желтой охрой и киноварью.
Стали низкими небеса,
Занавесившись мглистой хмарью.

Загустела вода в реке,
И на юг потянулись птицы...
Ну а мне по ночам в тоске
Вновь без сна суждено томиться.

Ну а мне суждено глотать
Жгучий, терпкий настой разлуки,
С болью имя твое шептать
И протягивать к небу руки.

Слышишь, любой мой? Отзовись!
Где звезда твоя нынче светит?..
Только незачем рваться ввысь —
Небо стылое не ответит.

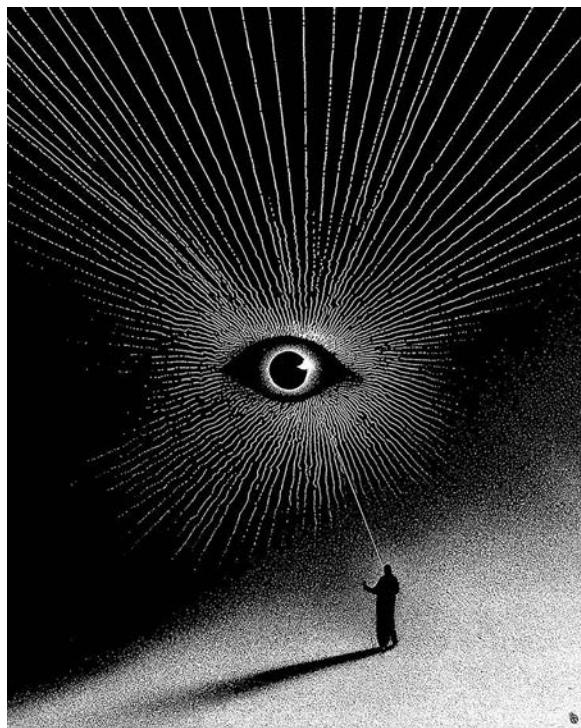
Небо горестно промолчит —
Лишь слезу мне в ладонь уронит.
И как в черном гробу, в ночи
Осень радость мою скроют...



Адам САЛАХАНОВ

НА СОН ГРЯДУЩИЙ

РАССКАЗ



Когда все, что задумал автор, впечаталось в его сознание, расшатало и зарядило воображение новыми фантазиями, он захлопнул книгу и потушил светильник. Нащупывая ногами теплоту под одеялом, он протер покрасневшие от чтения глаза. Перевернулся на левый бок и начал ждать, когда поток мыслей столкнет сознание в бездну сновидений. Первой на ум пришла тема, однажды попавшаяся на глаза где-то в Сети: «Прокручивайте перед сном все, что вы сделали за прошедший день, или планируйте в уме график завтрашнего. Это способствует развитию памяти, координации внимания. И к тому же помогает уснуть...»

На завтра все было настолько окончательно решено, что и возвращаться к этому сценарию не было никакой надобности. А прошедший день... вполне обычный день. Разве что нервное выражение лица шухернувшегося Зёмы заставляло улыбнуться каждый раз, как только вспомнишь его. И впрямь мысленная щекотка какая-то...

Да еще эта белиберда его: «Если-тебе-в-напряг-оставить-его-у-себя-то-давай-спрячем-где-нибудь-брата-нет-конечно-же-я-не-боюсь-отвечаю-но-я-как-бы-уже-не-в-первый-раз-вижу-этую-машину-на-своем-маршруте-в-последние-дни-и-тут-явно-что-то-не-так-отвечаю». Уже тогда пришлось прикусить язык и с трудом сдержаться, чтобы не расхохотаться ему прямо в лицо. Да-а, сегодняшний Зёма-заяц был полной противоположностью позавчерашнему Зёме-волку...

Но как же он вошел в роль гангстера! «Просто так, братан, средь бела дня люди не роются в мусорной урне городского парка. Отвечаю! И уж точно не в таком зализанном прикиде!.. Короче, один кладет свой пакет в урну, потом второй заменяет его другим — и

первый может забирать "обменку". Отвечаю, братан! И я это не один и не два раза видел. В общем, график изучен. Отвечаю! Все, что тебе нужно сделать, братан, — это по моему сигналу отвлечь толпу криками типа: "У меня украли телефон!" Ну или: "Человеку плохо, вызовите скорую!" В общем, как тебе удобно, братан, лишь бы ты навел суету в толпе. А я по-шустрому его цапану. И все пучком! Отвечаю!»

Надо было заснять это перевоплощение на видео и отправить в Голливуд. Разве старине Зёме помешает статуэтка Оскара на своей тумбочке?!

Просто диву даешься — еще пару дней назад он рычал волком про свой план, а сегодня уже пишит: «...или-если-хочешь-братан-я-брошу-его-туда-где-взял-отвечаю...»

Ага, щас. Бросит он. С разбегу. Как Майкл Джордан в прыжке на два метра... Скорее, меня швырнет, как лошару... Не тут-то было! Вот ему и поездка в кругосветное с подругой.

Когда он еще раз вспомнил эту переменчивость Зёминой физиономии, его лицо опять начало растягиваться в улыбке. Постепенно глаза зажмуривались все медленнее, а веки чуть дольше оставались закрытыми. И с каждым мерным вздрагиванием ресниц он улетал все дальше в мир сновидений... Невозможно поймать момент, когда засыпаешь. Никаких переключателей. И очевидность того, что ты уснул, осознается лишь при пробуждении. Да и само наше рождение разве не является предопределяющим фактором неминуемой однажды смерти? Как говорит Зёма, отвечаю.

Под эти мысли весь сумбур в голове рассеялся, дыхание замедлилось синхронно с дрожью (едва уловимой теперь) ресниц. И вот веки закрыты, дыхание на минимуме... Он уже погружался в сон — почти провалился в него, когда услышал шум в коридоре.

Поскольку сорванные сном мысли были ценнее, чем сам сон, который, в свою очередь прерванный шумом, был еще сладче, чем привкус узурпации покоя, он напряг слух острее, чем обычно. Ведь подобное он не позволял даже будильнику.

Прошла пара минут... Он уже приготовился прозевать: «Показа-а-алось...» — перевернуться на другой бок и мыслями о завтрашней транспортировке раскачать колыбель своего сознания. Но...

Не совсем показалось.

Из коридора послышался шорох приближающихся шагов. Кто-то очень осторожно пробирался то ли к нему в комнату, то ли в зал. Сонливость как ветром сдуло. Да еще таким, что кровь в жилах застыла. Как можно бесшумнее встав с кровати, он подкрался к двери. За секунду до того, как она открылась, он успел спрятаться за ней. Звук шагов вступил в комнату, окончательно защемив

его между дверью и стеной. Некто уже стоял на пороге и пристально всматривался в темноту его комнаты. В этой контуженной тишине он замер, затаив дыхание и ожидая, что этот кто-то вот-вот заглянет за дверь или же услышит галоп его сердца, набиравшего обороты так стремительно, что еще чуть-чуть — и оно начнет стучаться в дверь, пробив грудную клетку... Если, конечно же, не лопнет. Наверное, вот из-за этого скакуна в груди он не сразу услышал, что шаги удаляются в сторону зала. Медленно выходя из ступора, а потом уже из-за двери, он начал восстанавливать дыхание. Глядишь, и сердце угомонится. Мысли бурлили нескончаемым потоком. Но больше всего давил напор тех, что буквально кричали: «Это за тобой! Или за ним! А может, и то и другое!» Выбора не было — или ты, или тебя. Его взгляд стал рыскать по комнате, влезая во все щели и углы, в поисках колючих, режущих, тупых, острых и тому подобных предметов для самозащиты. Вдруг память джипиэсом дала наводку его запутавшемуся в испуге мозгу: «Цель — гантели — через два метра поверните направо». Действительно, в двух метрах от него, под кроватью, их грузные очертания угадывались даже в темноте. Он поспешил к ним, быстрым движением поймав этот маленький мост между двумя мини-планетами. Поднял. Чугунный знак бесконечности какой-то. Весом в восемь килограммов... Или та самая цифра 8. Приняв стойку истребителя мух — с гантеляй вместо хлопушки, — он сразу же двинулся тихой тенью за незвано явившимся, чтобы одновременно с каждым шагом чужака его босая пятерня ступала своими осторожными шагами: правая ступня веером на пол, ровно через секунду левая — шаг вперед, словно какое-то многоконечное насекомое.

Оптимальный вариант: догнать чужака в коридоре прежде, чем тот успеет войти в гостиную. В противном случае, оглядывая комнату, «гость» мог заметить его боковым зрением. Действовать нужно быстро. Между ним и удаляющимся темным силуэтом метра четыре. Чужак тоже был осторожен — крался, что называется, на цыпочках. А до другого конца коридора, где темнела приходящая, через окно которой, видимо, он и забрался, было метра три.

Однако тьма, шепчуя с той стороны: «А может, соскочить?» — казалась ему еще менее спасительной. Напротив, она предательски отзывалась шумом спотыкания, выскоцившим из рук и с грохотом упавшим на пол гантели, ударом колена об обувную полку и, конечно же, нервной возней с дверной ручкой — будто впервые пытаешься сладить с ней.

И все это повернувшись к нему спиной?! Однозначно — нет. Эта идея отсеялась. Вряд ли он успеет даже оглянуться — после

такого-то палева в темноте у двери... Походкой цапли он проследовал за незваным гостем. Теперь на каждый один его шаг нужно было делать два. А еще лучше три — в бесшумной погоне. Новая цель — затылок темного силуэта. Дыхание было затаено еще на выходе из комнаты. Оставалось настроиться на точный замах — подобно плотнику, обрушающему контрольный удар молотком по гвоздю, торчащему из деревянного столба. Зубы стиснуты. Последние шаги замедляются на посекундный темп — страховка от наезда из-за вполне возможной внезапной остановки. Но вот... уже... три, два...

Неожиданно что-то мягкое и кожаное, жестко защемив рот, рывком потянуло его назад. И в то же мгновение тонкая и твердая штука вонзилась в правый бок, как в сдобную массу. А потом еще — ровно посередине гармошки ребер. «Мехи его аккордеона проткнули, между ребер справа», — сообщила боль, моментально вскарабкавшись в сознание. Но какой бы сильной ни была эта боль, крик, на который способен человек с крепко зажатым ртом, — всего лишь немое мычание носом. На него-то и обернулся темный силуэт впереди. От острой боли в боку рука ослабела, пальцы разжались, и гантель полетела вниз. Но вместо ожидаемого грохота он услышал звук на удивление приглушенный — как от удара тяжелым предметом обо что-то менее твердое, чем пол. И в тот же миг за его правым ухом раздался сдавленный крик, несколько мгновений спустя сменившийся на более осмысленный и злобный:

— Ах ты, сука...

Тот, кому принадлежал голос, продолжал повторять это, словно вбивал на печатной машинке точку после каждой фразы в тексте. Затем последовало еще несколько ударов тем же тонким и твердым предметом в уже разогретый болью и теплой жидкостью бок... То ли боль сделала его тело тяжелее обычного, то ли расплавила мышцы ног, но на третьем или пятом ударе ноги подкосились, и он смиренно спланировал на пол вслед за гантелью. На полпути, в падении, то, что сжимало рот, схватило его за подбородок, зафиксировав на коленях с задранным к потолку лицом... Когда он втянул в себя внезапно высвободившимся ртом побольше воздуха, его мозг в автономном режиме еще продолжал выдавать логически наиболее результативные действия — мольба о пощаде или же вопли: «На помощь!» Но та же тонкая и твердая штука, прижавшись к яремной вене на шее слева, резким движением прошлась не столько по, а сквозь горло и вправо... В одно мгновение тот рот, к которому он привык, сталrudиментарной частью тела. А посередине его горла распахнулся новый — и первый изданный им звук был похож на свистящий шелест разрывае-

мого картона. Из этой пасти выплеснулось еще больше жидкости и теплым слюнявчиком разогрело грудь. Освободив подбородок, его теперь уже полностью обмякшему телу позволили шлепнуться лицом в пол. Тень впереди отскочила, чтобы падающий не задел его, и ошеломленно протараторила:

— Черт подери, старый. Ты чтотворишь? Ты ж и этого...

— Замолкни с-сопляк, — просипел сдерживающий боль голос позади лежавшего.

Сам лежавший мог участвовать в этом диалоге только хриплым выдохом:

— Х-х-х... — и рвущим вдохом: — Кх-х... — через ту самую пасть посредине горла. Синхронно с виброконвульсиями конечностей. Как телефон на беззвучном режиме.

— Ну ты ж сам вроде хотел сначала спросить его о пакете, — напомнил Сопляк.

— Ага. А потом возиться с двумя трупами? — отозвался Старый.

— Почему с двумя?.. С тем же вроде...

— Я про тебя, олух. Еще чуть-чуть — и он бы проломил твою пустую черепушку. Так что... С-суга, — опять по-змеиному прошипел Старый, — один палец точно сломан... Да я и не думал... Хотел слегка умерить его пыл, пырнув разок для начала. Но эта хреноовина, которую, кстати, он для тебя нес... А ты мне еще...

— Спасибо, конечно, — заторопился с благодарностями Олух. — Но все же быстро ты его, однако. Как мясник на бойне. Видать, рука уже набита...

— Морду я те щас набью! — угрожающе подытожил Забойщик.

Последняя угроза прозвучала совсем рядом с лежавшим. Правым плечом он почувствовал, как что-то двумя быстрыми движениями вытерли об него. Это были уже последние капли осознательных чувств, донесшиеся из его немеющего тела в мозг. По мере того как слабеющая качалка в груди выплескивала горячую жидкость через рану в боку и разъяленное горло на пол, энергия из тела испарялась. Конечности морозно парализовались. Все тепло его тела округлилось в луже, разраставшейся под ним. Но он его уже не чувствовал. Осознание элиминировалось. Полная парализация наступила как нежданный приступ. Взгляд стекленевших глаз зафиксировался на той самой красной луже, которая постепенно набирала темный оттенок. Понемногу эта темнота то ли ослепила его, то ли впитала в себя и погасила все вокруг. Он погрузился во мрак. Медный вкус крови испарился из его рта. Даже кончик кисло-древесного запаха сорвался у самых ноздрей. Точнее, и эти два чувства погасли — вслед за предыдущими.

Все его восприятие удерживалось на тонких нитях слуха, который с перебоями улавливал:

— ...Теперь тебе ясно, почему я всегда говорю держать дистанцию... Кретин... Вот что я называю прикрытием.

Скоро и эти слуховые нити оборвутся, нежели вытянут его из тьмы. Но поскольку они были его последней связью с реальностью, он вцепился в них. Паря воздушным змеем, опять уловил:

— Да ну... А мне это больше показалось приманкой, чем прикрытием. Уже в который раз, «добрейший» ты мой спаситель! — почти смело швырнул Кретин.

— Слушай сюда, ты! Я еще не разрулил с тобой вопрос о том, как тебя угораздило средь бела дня проморгать этот пакет. А ты мне тут еще предъявами огрызаешься?! Мне нужно было подождать пару секунд, чтобы первый заяц прихлопнул второго?.. Тогда и перо не пришлось бы дважды марать. — Голос Доблестного Спасителя направился в сторону Кретина. — Иди сюда, гнида!

— Стоп, э, старый! — рявкнул Гнида. — Не лезь ко мне... клянусь, я тя...

Конец связи.

Тишина.

Слуховая нить оборвалась. Глухой вакуум в голове. И в этом вакууме, подобно космонавтам в космосе, парят мысли. Он понял, что и они обречены. Его сознание испаряется, как кусочек льда на раскаленной сковороде. И шипучим паром проецирует итоговые мысли. Целая колода разных вероятных картинок. Но под одним заглавием: «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, ЭТО ПРОСТО КОШМАР».

Вот, к примеру, недавняя картинка. Он валяется в темноте в своей койке. Спит. Внизу картинки примечание: «Шум в коридоре, это было началом сна, а не наоборот. Просыпайся!» Или, для вящей надежности, картинка более ранней зарисовки. Он под светом светильника с распластавшейся на груди книгой дрыхнет в той же койке. И следовательно, примечание внизу тоже иного содержания: «Вовсе не книгу ты захлопнул, а ресницы. И моментально уснул. Проснись!»

Из-за неспособности оживить ее она тоже накрывается следующей картинкой. Опять все со стороны. Он. Комната. Книга под светом светильника. Но примечание уже такого состава: «Еще вначале чтения ты погрузился не в сюжет, а в сновидение. Давай обратно!» Такие оптимистические примечания породили свои теории надежды:

1. Никто ничем не кромсал твою плоть, это просто спазмы сосудов во сне.

2. Теплая лужа под — это не то, что ты подумал. Это то, от чего ты иногда просыпался в детстве. А после такого сна и стыдиться нечего.

3. Увядание чувств — это не угасание жизни, а просто конец сновидения.

Но по мере того как картинки памяти начали растворяться во мраке, тусовка примечаний ускорилась. Страна побежала: «Это точно сон... никак иначе... всего-то в двадцать семь... сейчас проснусь... нелепо... только не со мной... из-за какого-то пакета... кошмарный сон... всего лишь соучастник... реальность рядом... проснуться и уехать... да... пробуждение... ну же... сейчас... неважно где... неважно когда... даже неважно кем... лишь бы проснуться... в привычном мире... верить в пробуждение... все не так... только б проснуться... распахнуть тьму ресницами... вселиться в картинку... в любую...»

Подобный самоанализ не только превратил его в зрителя, наблюдающего за собой со стороны, но даже перевел внимание на кого-то, кто также наблюдал за самим зрителем, которым он себя только что определил. Как будто он был единственным человеком в кинозале, который смотрит фильм про себя и вдруг замечает, что в рубке, где-то за его спиной, сидит кто-то и крутит пленку. На языке его подсознания взгляд этого кого-то, подобно свету из проектора, проходил по строчкам его сценария как по пленке, проецируя все на экран уже своего, подвластного только ему воображения.

Абсолютно все — вместе с ним самим — находилось под этим взглядом.

А он — призрачный персонаж, разбитый на буквы, из которых своеобразным построением слов оживляется образ. И все это в голове — галактике — кого-то с солнцеподобным взглядом. Взглядом животворным для него, как лучи самого солнца для земных организмов.

Нежданное спасение — внезапный выход из лабиринта. Идентифицировав себя с тем, что создано красками, хотя бы и чернилами на белом, он вложил последние остатки своих мыслей-сил, чтобы рикошетом от этого белого угодить туда, где может существовать. Пусть на какой-то краткий неопределенный срок — но это хоть что-то... Это его последний возможный приют. А то, что он поселился в чьем-то воображении, до его нового носителя дошло только после последней буквы *a* в конце этого текста...



Аида БАБАЕВА

СНЫ О ФЛОРЕНЦИИ

СТИХИ



ПЛАЧ ПЕНЕЛОПЫ

Алану Мусаеву

Волн постылая песнь
Провожает закат,
И не сон, не болезнь
Твой не тронут фрегат.

Сложат жизнь по строфам —
Двадцати четырем...
Но уж точно не нам
Фолиант посвящен.

Не узнают и те
Над неспящим окном,
Что писала тебе
В трепетанье немом.

И по ветру слова
Разбросала рука...
За верстою верста —
До тебя, в никуда.

Не женою мне стать
И не плакать о том,
Что голодная рать
Охраняет мой дом.

Вот сужденный удел.
И на том мне стоять —
Этот черный надел,
Что Итакою звать,

Слился с телом моим,
Точно каменный плод,
Точно муж мой — не ты,
А блуждающий Лот.

Нашу тысячу лет,
И разлуку, и дом
Приравняет аэд
К двадцати четырем.

Или чья-то рука
Свой напишет рассказ,
Как тебя я ждала
И как не дождалась.

СНЫ О ФЛОРЕНЦИИ

Deh peregrini che pensosi andate...

Dante. La Vita Nuova XXXVI

1

Я ходил по земле так долго,
Чтобы ночью Твой нежный шепот
Прозвучал над моей печалью,
Чтоб у бурного моря робко
Мы стояли вдвоем. И город
Нас не видел за синей далью.
Я узнал Тебя по рассветам,
Я услышал заветный голос
В теплом ливне и в эхе ветра.
Над моим пожелтевшим садом

Распускалась весна Тобою,
Небо землю ласкало взглядом
И дышало Твоей любовью.
Я молчал над Твоей тоскою,
Как молчит в тишине пустыни
Тот, кто жаждет услышать Бога,
И греховной своей мольбою
Перед лицом немой святыни
О Тебе я просил убого.
Я Тебя на закате оплакал,
Хоронил перед самым восходом
И вознес Твое имя к звездам.
Я искал среди тысячи взглядов
Пилигримов из дальних походов
Тот, что болью моей отзовется.
От Флоренции и до Равенны
Может, день, может, целая вечность,
Как из ада до самого рая.
Мне блуждать по просторам Вселенной
В ожиданье обещанной встречи,
Твое имя в веках воспевая.

2

А лето пыпало июнем,
И над Флоренцией милой
Красное-красное солнце
Грозно свершало свой путь.
Ирис склонился, горюя,
И кипарисы застыли
Над головой незнакомца,
Севшего здесь отдохнуть.
В лето Господне, а впрочем,
Их пролетело безмерно,
Может быть, сотни и даже
Тысяча прожитых лет.
Помню ее непорочной,
Помню пречистою девой,
Помню свидание наше
И молчаливый привет.

Должна была зваться Марией,
А нарекли Беатриче
И нареченной невестой
В дом Портинари ввели.
А я, все тоскуя, дарил ей
В сонетах любовь и величье,
Пока на земле этой места
Не было нашей любви.
А я все ходил, вопрошая
Ясное небо июня,
Куда же мне деть эту нежность,
Щемящую болью в груди?
А дома Донати, рыдая,
Под сводами вдовьего тюля
Иссохшую вереском верность
Венком продолжала плести.
А я ждал от неба июня
Ответа, но небо молчало,
Молчало и грозное солнце
Над милой столицей моей.
И ирис склонился, горюя,
И кипарисы стояли
Над головой незнакомца
Тысячу прожитых дней.

3

Флорентийское лето
Обнимало июнем
Нежных ирисов россыпь,
Изумруды листвы.
То ли снилось мне это,
То ли в жарком бреду я
Вдруг услышала поступь
Среди шумной толпы.
Красный плащ языками
Обожженного ада
Обжигал мостовую,
Мое сердце обжег.

Ты все понял глазами:
И немое «Не надо»,
И немое «Люблю я»
В песнопенье облек.
Флорентийское лето
Не щадило, палило.
Мое сердце сжигало
В этой красной тоске.
Я встречала рассветы
И глядела уныло,
И мне было так мало
Жить на этой земле.
Я не знала, что буду
Зваться первой женою
Среди смертных, которых
Встретят в райском строю,
Что бессмертное чудо,
Что зовется любовью,
Не изведав, в неполных
Двадцать пять я уйду.
Флорентийское лето
Обнимало июнем
Нежных ирисов россыпь,
Изумруды листвы,
То ли снилось мне это,
То ли в жарком бреду я
Вдруг услышала поступь
Среди шумной толпы.



Дарья БЛАГОВА

ИХ ЗЕМЛЯ

РАССКАЗЫ



БЮВЕТНИЦА

Зоя бьет расческой каштановый хвост, изо рта торчит кусок серого, как школьная тряпка, хлеба. Зоя убежала с ним из столовой, ничего не поев, лишь бы успеть в палату до конца ужина. Она заканчивает расчесываться и пропихивает в рот хлебный огрызок, быстро и с силой жует. Придумывает шутку, что покормила себя, как собаку.

В кармане джинсов вздрагивает телефон. Сообщение от мамы: «Ау». Зоя открывает чат и видит, что не отвечала почти полчаса. Блин. Нажимает на значок, чтобы записать кружок, но вспоминает про прыщ на подбородке, отменяет кружок и диктует голосовое сообщение:

«Мам, привет, прости, все нормально, не играю я в баскетбол, можешь не спрашивать каждый раз. Ем прекрасно, сегодня было жаркое со свининой и чизкейк».

Зоя гадает, распознает ли мама иронию. Достает пудреницу и лупит лицо засаленным спонжем. Открывает чат с Катей: она не в сети уже час. Записывает кружок для Кати:

«Хай, Катя! Смотри, какой я купила чокер за 50 рублей. И нарисовала стрелки, почти как у тебя, но кривые. Ты обещала мне тут торт или, кстати. Как дела? Че делаешь? Сильно занята?»

Зоя надевает легкую куртку, хотя можно уже и без нее. Левая сторона куртки оттягивается из-за предмета во внутреннем кармане. Зоя побоялась класть в боковой, чтобы не выпал. Из-за хромоты Зоя теперь многое меняет, даже неочевидное. Выходит из

палаты и видит, что на посту охраны никого нет: тетя Люба опять обьяелась и спит.

«Кстами, Катя, обещала показать тебе свой детский санаторий, называется "Источник". Вот, смотри. "Источник депресии", я думаю. Ха-ха».

Зоя спешит прочь от санатория. Снова пишет мама, спрашивает, точно ли Зоя хорошо ест и соблюдает покой. Мама хочет целыми днями задавать одни и те же вопросы. А внутри Зои уже полчаса дрожат и толкаются все органы, сердце хочет вылезти через горло. Говорить маме, что занята, бессмысленно. Мама не признает Зоиных дел.

«Мам, я точно поела и не тренировалась. Эм... а как там папа, кстами? Виделись с ним на выходных?»

Теперь мама не будет писать пару часов, а о последствиях Зоя думать не хочет. Садится на лавку, раскручивает белые веревки наушников: достает их, только когда никого нет рядом, у всех уже давно беспроводные. Музыка вбивается в уши и делает еще хуже Зоиным внутренностям. Такого дерганья не было с тех пор, как с Зоей говорил тот врач. Зоя видит гигантскую бьюветницу, сделанную из искусственной травы. Выключает музыку.

«Катя, смотри, короче, вот такую фигню поставили в парке. Знаешь, что это такое? Не могу, уродство же вообще».

Кати нет в сети два часа. Иногда она сидит на серьезных встречах и не может отвечать. Вообще Катя частенько пропадает из-за работы, что грустно. Зоя открывает архив чатов. Чат сборов, чат других сборов, чат команды, чат соревнований, чат, где обсуждают тренера. Почти в каждом по сотне новых сообщений. Зоя выходит из архива и чувствует, как все мышцы пульсируют и вот-вот заставят ее конечности плясать. Открывает чат их смены в детском санатории, там находит Вышел Покурить. Смелый ник, но дурацкий. Зоя улыбается Вышел Покурить. Открывает чат, которого, по сути, нет, потому что он пустой. А что, если взять и записать...

«Мам, слушай, а что мелкой подарить, подскажешь? Что-то не могу придумать».

Прослушала, но молчит. Все-таки Зое не по себе, когда мама так делает. Зоины ноги уже пляшут сами собой, даже больная. Зубы подминают нижнюю губу. Невозможно сидеть, можно только идти и говорить, идти и говорить. Зоя встает и продвигается по маленькой курортной площади, а по пути записывает новый кружок. Видит нескольких мальчиков-подростков, отменяет кружок и замедляется, чтобы скрыть хромоту. Парни проходят мимо, Зоя ускоряется.

«Ну короче, у нас тут скоро дискотека, не знаю, идти ли. И в чем пойти, кстати? Как думаешь? Тут девчонки такие, блин, наряжаются, как двадцатилетние женщины. Фу, бесят. Думаешь, для чего это? Чтобы парням нравиться? А парням такое нравится вообще? У вас так тоже было после революции, или когда ты там родилась?»

Зоя представляет, как Катя пишет: «Мне даже еще не 30!!!!!!!» Катя часто ставит много восклицательных знаков. Их родственные связи заковыристы, но считается, что Катя типа тетя. Зоя подходит к маленькому легкому зданию с колоннами и заходит внутрь. Решает сначала присмотреться: вроде бы никого нет, точнее, есть, но все старые. То есть никто ее не увидит. Зоя осторожно вынимает из внутреннего кармана куртки бюветницу. Она маленькая, ярко-голубая и блестящая, по ее плоским бокам, ручке и носику вьются серебристые цветы.

«Блин, ха-ха, смотри, что мне подарили. Бюветницу! Они тут везде, блин. Этот человек, который подарил, он, наверное, думает, что мне сто лет, прям как тебе. Вот так крутишь кран, и раз — в бюветницу фигачит струя минералки. Типа полезно для всего, но не знаю, как вода вылечит мне ногу. Фу, блин, забрызгалась».

За полчаса до ужина Костя подошел к Зое. Стоял прямо, смотрел в пол и вдруг протянул газетный сверток: «Зоя, это тебе купил. Вот». Отдал и ушел. Зоя сразу же оглянулась, не снимает ли ее кто-то на телефон. Никто вроде бы не снимал, но Зоя на всякий случай постояла на месте. Если бы она похромала за ним, еще и в этом балахоне — как назло, надела самый старый, — и все это на камеру... Перед ужином успела зайти в палату и распаковать. Ну а потом уже пошла за серым хлебом.

«Короче, вот такое подарили мне, да. Смотри, как надо пользоваться этой штукой. Внимательно смотри, на пенсии пригодится. Вот так носик в рот засовываешь и... пьеф, как иф трубочки. Фух, всё, вонючая водичка, но вкусная, в принципе. Кать, а как понять, как человек настроен к тебе вообще? Не для себя спрашиваю, ну короче, поделись мудростью».

Бюветницами пользуются пенсионеры, немодные женщины ввязанных крючком шапочках и дети, которые не могут сами передвигаться. Зоя жалеет их: они пользуются колясками или костылями, а рядом всегда их мамы. Такие дети делают все, что им говорят, иначе никогда не получат того, что им на самом деле нужно. Зоя знает, потому что однажды полностью зависела от мамы целую неделю. Но Зоя любит маму.

«Мамуля, слушай, не обижайся, если я что-то не так сказала. Вон. Прости. Хочешь, привезу тебе косметику из грязи? Тут есть соленое озеро, в нем лечебная грязь. Говорят, крутая».

Прослушала и молчит. Зоя идет обратно, болит уже вся нога, так что ходьба получается медленной. Санаторий рядом, Зоя его видит, но идти еще вечность. Зоя останавливается передохнуть и смотрит в сиренево-розовое ягодное небо. Вспоминает города, в которых была с командой за последние пару лет. Несколько раз они летали по небу. Зоя вдруг начинает плакать, даже рыдать. Сердце колотится все тише, из Зои кусками вываливаются все дерганья и толчки. Тело расслабляется.

«Катя, короче, скажу как есть. Я... не знаю. В общем, тут мальчик один, он мне сразу понравился. Но я не знаю, нравлюсь ли ему. И вот он подарил мне эту штуку... и убежал! Катя, я не знаю, это потому что я теперь хромая и он надо мной издевается? Типа вот пей водичку, как бабка какая-то? Или так заботится, типа пожалел? Или что он сказать мне хочет?»

Зоя больше вообще ничего не знает. Никто не хочет говорить о проклятой ноге, о папе и его делишках — в семье Зои о трудностях всегда молчат. Но Зоя так не может, с самого детства не могла. Теперь этот Костя... тоже ни фига не сказал. И Катя куда-то пропала уже на три часа.

— Блин, Зоя, прости...

Зоя не могла видеть человека, который прячется от вожатых в заброшке неподалеку от санатория. Конечно, не могла, он же специально прячется, чтобы не застукали. Ее должен был насторожить запах дыма, но не насторожил. Костя перепрыгивает через оградку и встает перед Зоей. Смотрит виновато.

— Так зачем подарил бьюветнице?

— Ну чтобы... Зоя, ты мне нравишься, и я хочу пойти с тобой на дискотеку. Вот. Пойдешь?

— Да... Пойду. — Зоя улыбается, хочет засмеяться.

— А бьюветница... Блин, ну тупой подарок, просто она классная и с красивым цветком. Увидел и подумал о тебе. Вот.

— Совсем не тупой! Мне очень нравится. Спасибо.

Уже в палате Зоя отправляет Вышел Покурить смешной стикер. Затем удаляет все кружочки, которые записала Кате. Разумеется, через минуту Катя отвечает. В этот раз текстом.

«Котик, прости, я летела в самолете. Увидела сто пушей, но не успела посмотреть. У тебя все ок? Хочешь созвониться?»

Уже все ок))))) мб, потом расскажу.

Что тебе привезти, кстати?»

ИХ ЗЕМЛЯ

Раньше родная земля Мары была влажной и маслянистой. Ее сок проникал в корни растений, напитывал плоды, лопал их кожицы и по капле стекал обратно. Скот объедался ароматной травой этой земли, а люди выращивали все, что им вздумается.

Когда пришла мертвая зима, Мара перестала спать. Ночами она водила пальцем по промерзшему глиняному полу и представляла, как погружает ладонь в теплую борозду. Как растирает пальцами черные жирные комья или тянет из тьмы прохладного червя.

В последний день весны Мара и Гуч приволокли шесть мешков с грибами. Другие семьи собрали столько же или больше. Аул не спал всю ночь, под полной луной все чистили грибы, радуясь обретенному богатству. Обрезки отскакивали от упругих ножек, а Мара и Гуч пели тихонько, чтобы дочь не проснулась. Наутро во двор вышел свекор Натук с маленькой Бэлой на руках и сказал:

— Такой урожай бывает только на погибель.
Не поняла тогда Мара его слов.

Потом домашние животные начали рыть ямы. Одна курица застrella клювом в глине и свернула шею. Соседский осел всю ночь ворил и вбивал копыта в землю. Утром стало тихо, и Мара пошла узнать про осла.

— Сдох он, — сказала соседка. — Могилу себе копал.

В одну ночь аул покинули все собаки, а та, что была на привязи, выла и крутилась на одном месте, пока ее не отпустили. Следующей ночью Мара и Гуч проснулись от странного дрожания в груди и животе. Они встали с постели и увидели, как через оконце вползает красный густой свет. Красные одеяла, красный очаг, красное лицо дочери, красное все. Гуч приобнял Мару, и они шагнули за порог. В небе истекала кровью огромная луна.

Утро после кровавой луны молчало. Младенцы не плакали, взрослые говорили мало и шепотом, кони застыли и опустили к земле красивые головы. Мара и Гуч сидели у реки и наблюдали, как Бэла перебирает мокрые камешки. Все чувствовали наползающее на аул горе и не хотели призывать его разговорами.

Когда солнце прыгнуло в самую макушку неба, люди услышали оглушающий хохот. Землю закрасила тень, и Мара посмотрела наверх: половину неба закрыло крыло. Гигантская птица развернулась, и тогда Мара увидела острый клюв размером с утес и страшную орлиную голову. Все бросились по домам, а хохот гремел до самой ночи.

С того дня орел прилетал каждый день, разрушал аул и ходил. Сносил когтистой лапой сразу несколько домов. Сдувал урожай, выкорчевывал клювом леса. Некоторые жители аула собрали вещи и поехали вниз, к казачьим равнинам. Те, кто не хотел покидать родную землю, а также те, у кого не было достаточно денег, коней и телег, остались и начали думать, как справиться с орлом. «Что нужно тебе от нас, орел?» — кричали в небо жители аула. Но орел не отвечал и продолжал хохотать.

Однажды орел сел на скалу, и та захрустела под его весом.

— Считаю акцию устрашения оконченной, — сказал орел. — Выполните мои условия, и я вас больше не потревожу. Пусть все мужчины моложе сорока лет приведут ко мне на Бурую гору всех овец. Мужчин пересчитаю и поставлю на учет, затем отпущу. Овцем тоже пересчитаю, но половину заберу себе в качестве уплаты налога.

Обрадовались жители аула, что их страдания скоро закончатся. К тому же до Бурой горы был всего день пути. Женщины пошли собирать еду в дорогу, мужчины легли отдохнуть. Мара наспех побросала хлеб, сыр и вареное мясо в узелок и легла рядом с Гучем. В тот вечер она не могла отлучить свое тело от тела любимого мужа. Они пролежали так всю ночь, а утром Гуч ушел вместе с остальными.

Не вернулись мужчины через два дня и даже спустя месяц, когда лето доковыляло до середины. Орел больше не появлялся, и хохот его не гремел. А на сороковой день выпал снег. Теплая влажная земля остыла и затрещала под ногами. Мара не плакала, как это делали другие женщины, а начала усердно и яростно выживать в мертвую зиму.

Шли дни и месяцы, деревья промерзали и роняли в снег ветки, люди уходили вниз. Каждое утро Мара проверяла, сколько осталось в мешках грибов и зерен. Затем поднималась на холм и выкапывала из-под снега сухую траву для костлявой козы, которая продолжала давать водянистое пахучее молоко. Накормив козу, Мара переходила речку по толстому бревну и поднималась на плоскогорье. Там Мара долго смотрела на далекую Седую гору с двумя равными вершинами. Люди говорили, что эта гора самая высокая на свете. И в жару, и в мертвую зиму она была одинаковой. Мара приходила к Седой горе с мольбой. Никогда Мара не просила за мужа, потому что боялась увидеть знак смерти:

«О Седая гора, обращаюсь я, смертная Мара, к тебе вечной. Близка к солнцу ты, так упроси его на нашу землю прийти и согреть ее. О гора, холодна ты и огромна, так забери себе снега наши и прими на склонах своих словно родных. О Седая гора, мудра ты, так пошли нам терпения пережить мертвую зиму. Как ветер дует до края света, так и слова мои до тебя долетят».

Мара втягивала в себя ледяной воздух, ее живот и грудь внутри холодели. Затем Мара выдувала воздух на Седую гору медленно и долго, пока перед глазами не начинали прыгать черные пятна. Но в свирепом ветре терялся воздух, вылетающий из губ Мары, и Седая гора не слышала ее слов.

На обратном пути Мара заходила в лес и набирала ветки и бревна для очага. Перевязывала их веревкой и взваливала на

скругленную спину. Последним делом Мары было набрать воды в горной речке, которая вспарывала лед изнутри и бросалась каплями в прибрежный снег. Вечером Мара ставила ведра рядом с очагом, чтобы вода согрелась, и принималась готовить. Молола зерна, замешивала тесто, пекла лепешки, варила похлебку из горстки грибов или делала сыр из козьего молока, которое днем на-доил Натук.

Мара готовила и слушала, как маленькая Бэла играет с дедушкой. Бэла спала все крепче и дольше, но вечерами расходилась и смеялась, как в прежние времена. Натук разыгрывал сценки деревянными игрушками, которые вырезал для Бэлы. Чертил на земляном полу картинки и рассказывал Бэле, как устроена жизнь. Мара тоже вспоминала старые истории и включалась в их игру. В такие вечера горе по Гучу отползло в темноту, Мара радовалась своей семье и тихим вечерам у очага. Так продолжалось недели и месяцы, но однажды Натук отвлекся от игры и сказал:

— Дочка, вышла бы ты замуж за Алексея, что к тебе до Гуча сватался. На днях опять приезжал, про тебя спрашивал.

— У меня уже есть муж.

— Тебе надо дочку прокормить, а мы с козой тут как-нибудь сами.

— Клянусь, отец, ни за кого больше не выйду. А когда вернется Гуч, я буду здесь.

Мара проснулась раньше всех, проверила скучные запасы и собралась идти за сеном. С начала мертвый зимы коза жила в той половине дома, где раньше спали Гуч и Мара. Мара зашла к козе за мешком, но та не прыгнула к ней и не потянулась мордой, как обычно. Мара взмотрелась в темноту: в углу лежало многоугольное, тощее тело козы. Слабая шея вытянута, копытца скрещены. Мара подошла, присела рядом и погладила жесткий холодный бок.

— Спасибо тебе, дорогая, натерпелась ты.

Мара пригнулась и поцеловала лоб козы — он был плоский и ледяной, как речной валун. Мара взяла козу за задние копыта и потянула из дома. Тело козы было тяжелым, Мара торопилась: она боялась, что проснется Бэла и все увидит. Мара затащила козу за дом и уложила в сугроб.

— Как снег растает, я тебя похороню.

Ночью Мара задремала и проснулась от шума снаружи. Через саманные стены пролезали звуки волчьей суety и их рычание.

Мара боялась услышать, как зачавкают звериные челюсти, и закрыла уши одеялом. Утром она с облегчением не нашла останков козы. В сторону леса тянулась широкая снежная борозда.

Мара стала ходить к Седой горе утром и днем. После того как умерла коза, у Мары освободилось много времени. Готовки тоже становилось меньше, потому что запасы были на исходе. Она могла трижды подняться на плоскогорье и трижды принести ветки и бревна для очага.

«О Седая гора, обращаюсь я, смертная Мара, к тебе вечной. Близка к солнцу ты, так упроси его на нашу землю прийти и согреть ее. О гора, холодна ты и огромна, так забери себе снега наши и прими на склонах своих словно родных. О Седая гора, мудра ты, так пошли нам терпения пережить мертвую зиму. Как ветер дует до края света, так и слова мои до тебя долетят».

Мара медленно дула на Седую гору, выжимая дыхание из груди и живота. Но воздух изо рта Мары терялся в суровых ветрах. Подумала было Мара попросить за Гуча, но зажмурилась и вытолкнула это желание из головы.

Теперь Мара могла немного посидеть с дочкой при дневном свете, поговорить с ней и спеть старые песни. Иногда Бэла начинала хмуриться и проситься в кроватку, днем она все чаще была вялой. В один день Мара уложила Бэлу и вышла во двор за ведром для воды. К дому подъезжал на коне Алексей. Стал уговаривать Мару поехать с ним.

— Предлагаю взаимовыгодный обмен. Ты мне — ласку, заботу, еду и уют. Я тебе — комфортные условия жизни. И дочку твою возьму. Трогать тебя не буду, пока сама не захочешь, но лучше ты с этим, конечно, не тяни. Зимы у нас внизу нет, а по осени столько винограда собрали, что вино до сих пор не выпьем. А тебя я уже столько лет люблю, что не представляется возможным забыть.

— Алексей, у меня есть муж.

— Да мертв он, дурочка.

Мара плонула в лошадиные копыта, вошла в дом и закрыла дверь. Услышала, как выругался Алексей и поклялся никогда больше не возвращаться.

Мара взяла веревки для дров и пошла говорить с Седой горой. У берегов горной реки Мара не услышала ее буйного бега и резвых капель. Она подошла к широкому бревну и посмотрела на молчащую реку. Под толстым мутным льдом не было видно даже течения. Как тогда, при кровавой луне, внутренности Мары задрожали. Она прибежала домой и схватила топор. Натук увидел безумствующую Мару и спросил, в чем дело.

— Река замерзла, — крикнула Мара.

— Ничего страшного, дочка, растопим снег.

— Отец, земля наша умирает, совсем умирает, и кровь ее остановилась!

Мара заплакала впервые с того дня, как ушел Гуч и все молодые мужчины. Побежала с топором к горной реке и начала колотить им по льду. Но топор звенел и отскакивал обратно, не оставляя ни трещин, ни даже царапин. Мара отбросила топор, расстегнула одежду и легла горячим телом на замерзшую реку. Уговаривала Мара реку согреться, воспрять и сломать орлиный лед, плакала и кричала, но ни слезы, ни жар кожи Мары не растопили даже немного льда.

Мара знала, что идет молить Седую гору в последний раз. Собрала внутри все горячее, что в ней было. Любовь, ярость и огромное горе вспыхивали внутри Мары, воспламенялись и втекали в ее кровь.

«О Седая гора, услышь меня, мать, жену, последнюю женщину на родной земле. Забери свои проклятые снега. Пошли к нам ленивое солнце, чтобы все тут растопило. Терпения мне не нужно, нет у меня терпения, нет и времени. Как ветер дует до края света, так и слова мои до тебя долетят».

Трижды Мара кричала на Седую гору и дула на нее своим человеческим, материнским, женским, любящим, горюющим жаром. Упала без сил на колени лицом в снег, ладонями об лед и зарыдала в последний раз. Сжался над Марой суровый ветер, схватил ее яростные слова и понес в мощном своем кулаке Седой горе.

Вечерний очаг грел робко, будто боялся разозлить крепущий холод. Маре больше не из чего было готовить. Она выложи-

ла рядом с очагом последний кусок козьего сыра, чашку грибной похлебки и лепешку. Бэла спала на коленях у свекра, Мара села рядом.

— Придвинься поближе, преданная ты моя дочка. Согреемся перед последним нашим ужином.

Мара положила голову на плечо Натука, тот ее приобнял. Сидели молча и слушали дыхание маленькой Бэлы, которая теперь все время спала и почти перестала смеяться по вечерам. Мара размышляла, как назавтра отправить семью вниз, чтобы одной дожидаться Гуча. Где взять коня или осла. И выдержит ли свекор путь, если пойдет пешком и потащит санки с Бэлой.

Промерзший воздух жилища дрогнул от стука. Никто не пошевелился: мало ли какая палка ударила о стену. Но стук повторился трижды, потом еще трижды. В целом мире остались только они, так что Мара испугалась. Это мог быть злой дух или болезнь ее растрескавшегося разума. Снова постучали трижды. Бэла приснулась и захныкала. Мара встала, подошла к двери и открыла ее.

На пороге стоял человек с белой бородой, в капюшоне, в руках его была длинная палка. Мара пригласила его войти, и, когда старик сбросил плащ, стала видна его седая голова с пробором по центру.

— Хозяйка, пустишь погреться?

Мара задумалась на мгновение, но за мертвый зимой, льдами, телами животных и голодом в ней еще жила память о прежней жизни и ее законах.

— Ты гость, а гостю мы всегда рады.

Натук и Бэла подвинулись и пустили гостя к очагу. Мара разрезала на четыре части последний сыр, согрела в затухающем очаге грибную похлебку и разлила по четырем маленьким кружкам. Хлеб тоже разломила на четыре части: один кусок получился чуть больше, и Мара протянула его гостю. Ели молча, смотрели в огонь. Раз старик смог до них добраться, значит, и свекор Мары сможет увезти отсюда дочь. Мара спросила путника, покажет ли он хорошую дорогу вниз.

— Нет больше пути вниз, хозяйка, все занесло снегом. Да и не ждёт вас там никто.

Мара почувствовала, как ее кости становятся мягкими, а сама она упливает во тьму.

— Значит, умрем на родной земле.

Доели сыр и хлеб, выпили похлебку. Мара вспомнила про пучок чабреца, который она берегла для хорошего события. Но

последний день жизни и был хорошим событием на фоне мрака, открывшегося вместо будущего. Мара бросила в воду чабрец, вскипятила и разлила по кружкам. Натук пил отвар с закрытыми глазами и улыбался, Бэла причмокивала. Гость залил в рот остатки горячего напитка и сказал, что ему пора.

— Куда же ты пойдешь, к голодным волкам? Ты же сам сказал, что пути нет, так оставайся здесь и найди покой рядом с людьми.

— Иди за мной, Мара, — улыбнулся гость, и его зуб сверкнул серебром.

Мара с трудом открыла дверь, в которую давил ветер, и пропустила гостя вперед. Гость вышел за калитку и расчистил от снега валун. Занес посох над головой и ударил в него. От камня поползли огоньки, маленькие и шустрые, словно светлячки, и он треснул. Из трещины хлынула вода и потекла по лужайке, раздвигая и подтапливая снег. От нового ручья шел, закручиваясь, белый пар.

— В мои времена эта вода давала силы героям и питала чудесную почву. Но когда пришли люди, наша вода спряталась очень глубоко. За твою доброту и щедрость, хозяйка, возвращаю воду земле.

Мара смотрела на горячий ручей и видела, как от его берегов отползает снег, показывается черная земля, а комья этой земли расталкивают нежные ростки.

— Выращивайте еду и пасите скот девять месяцев в году, а зимой ваша земля не умрет, но будет спать. И вы вместе с ней будете набираться сил к весне.

— А орел?

— Улетел ваш орел в другие аулы.

Мара бросилась к ручью и сперва погрузила ладони в теплую жирную землю, что была для нее нежнее сливок. Поздоровавшись с землей, Мара начала пить воду крупными глотками. На вкус вода была железная, как коса или плуг; щипала щеки и танцевала во рту, как молодые пары на празднике; и была горячая, как кровь. Мара вбежала в дом, позвала дочку и свекра. Все склонились над горячей рекой и припали к ней, а когда напились и согрелись, Мара спросила свекра, что это за чудесная вода.

— Это же нарт-санэ, — рассмеялся Натук. — Напиток нартов!

Тогда Мара все поняла и тоже рассмеялась, вскочила, начала плясать, как вдруг вспомнила о госте и о том, что не поблагодарила его. Гость уходил по зеленеющему лугу и уже был далеко. Мара побежала по его следам, сбрасывая на ходу теплую одежду. Гость обернулся, подождал Мару и посмотрел на нее с улыбкой. Мара

вдруг растеряла все слова, что у нее были, чувства переполняли ее. Мара хотела было поклониться и уйти, но она не могла упустить такой шанс.

— Дорогой гость, скажи, вернется ли мой муж?

— Погибли твой муж и все молодые мужчины вашего аула.

Мара почувствовала, как на ее голову посыпались кинжалы, а внутри обвалилась скала. Как мир почернел и солнце перестало гладить ее сухую, промерзшую кожу. Мара хотела попросить гостя, чтобы он проткнул ее своим посохом, как тот валун у дома, но вспомнила про маленькую Бэлу.

— А можно еще желание?

— Ну и ненасытная же ты, хозяйка, — улыбнулся гость. — Ладно, проси.

— Хочу, чтобы у моей дочери рождались только дочери и чтобы у их дочерей тоже рождались дочери.

— Хорошо. Чем отплатишь?

Мара огляделась. Вокруг толкались свежие травинки, кусты выбрасывали из веток яркие бутоны, почва всасывала в себя последние пятна снега. В родной земле снова появился сок, Мара слышала его и чувствовала телом. Она наклонилась и пробежалась пальцами по душистому разнотравью. Маре показалось, что гладит она тело мужа. Что березовая ветка, скользнувшая по ее плечу, ответила мужчиной рукой. И что распахнувшиеся тюльпаны смотрят на нее глазами Гуча. Мара подумала про свое огромное счастье: как хорошо, что ей встретился Гуч и что стали они мужем и женой.

— А еще пусть каждая женщина моей крови познает такую же любовь, какую познала я. Взамен женщины моей семьи будут бречь нарт-санэ больше, чем собственную жизнь.

— Это два желания. И вы не убережете, дорогая Мара, — путник взял ладонь Мары в свою, и его кожа оказалась ледяной. — Но будь по-твоему.

— Как же отплатить мне, гость?

— Можете в память обо мне и моей помощи каждый год в этот день накрывать щедрый стол, наливать нарт-санэ в самый красивый кувшин и праздновать жизнь.

Мара упала в ноги путнику, а когда подняла голову, его уже не было рядом. В синем небе сверкнула белая полоса, похожая на длинную бороду. И тогда Мара улыбнулась весне, Гучу и жизни, которая продолжится в их дочери и ее дочерях, потечет вместе с соком земли к новым людям, густым лесам и вечным горам.

* * *

Ася смотрит на своего северного мальчика, красивого, как льдинка или голубика, с хлопковыми волосами и глазами цвета горной речки. Любуется, пока он ищет что-то в приложении с картой города, который Ася знает до каждой неучтеною тропинки. Солнце светит ярко, но Ася одета, как и положено зимой, в куртку, пусть легкую и нараспашку. А Никита сунул толстовку в рюкзак и весь день ходит в футболке.

— Оденься же хоть немножко!

— У нас такая погода в мае! Идем!

Никита затащил Асю в цветочный, чтобы купить букеты для ее мамы и сестер, хотя Ася была против, потому что на Новый год букеты никто не дарит, это же просто трата денег, которых и так чуть-чуть. Они оба — студенты, Ася учится на фельдшера в родном Кисловодске, а Никита поступил в Пятигорский фармацевтический, ездят друг к другу на электричке едва ли не каждый день.

— Никита, выбирай живее, скоро галерея закроется.

Мама и обе сестры обожают Никиту, папа — пока с осторожностью, но шашлык по праздникам уже жарят вместе. Сегодня будет первый раз, когда они отметят Новый год всей семьей.

Никита выбрал красивые букеты из роз в разных оттенках, расплатился и сгреб цветы одной рукой, а другой открыл дверь магазина, пропуская Асю вперед.

— А купить в стекле нельзя?

— Нельзя! Такова семейная традиция.

Ася и Никита почти бегут. Последние солнечные лучи прыгают по разноцветным шарам, которые болтаются на городских елках. По бульвару бродят, задевая друг друга плечами, расслабленные курортники, тоже легко одеты, папа называет их кефирниками, а Ася иногда так называет Никиту, чтобы подколоть за неместность.

— Ася, вот же магазин, может, зайдем?

— Говорю же — нельзя!

Они видят наконец Нарзанную галерею, построенную будто бы из воздуха, так много в ней стекла и игривых башенок. Галерея стоит в центре Кисловодска и всей его жизни, Ася с детства про нее все знает, потому что заставляли учить в школе. Например, что нарзан нашли в 1793 году, а уже через четыре года начали лечить им солдат, служивших на Кавказе.

— А если ты решишь куда-то переехать? Как будешь соблюдать традицию?

Они уже внутри галереи, ковидные наклейки давно выцвели, и на них больше никто не смотрит. Ася озирается, чтобы злая смотрительница не ругала ее за бутылки, типа: нужно набирать воду только в блюетницы или стаканы. Ася все равно отобьется и нальет куда ей надо, но праздничное настроение портить себе не хочет.

— А никак! Зачем мне переезжать?

Ася подставляет горлышко к краннику и жмет на кнопку. Кранник взрывается нарзаном в пластиковую бутылку, и через ее стенки Ася чувствует тепло. Она смотрит на подвыпивших курортников и почему-то радуется за них, что они приехали, как говорит бабушка, «из своих сибирей» и встречают Новый год в таком красивом теплом месте.

— Первая готова, держи!

— А если я позову тебя жить к себе на родину?

Ася подставляет под кранник вторую бутылку, закатывает глаза и высовывает язык — так, будто она персонаж мультика, которого подстрелили из нарисованного пистолета.

— На север? Бу-э-э...

Никита смотрит на кривляющуюся Асю, улыбается, ему ужасно нравится, когда Ася обезьянничает. Они кладут в Никитин рюкзак три полные полторашки и под елями идут домой к Асе. Ася цепляется макушкой за игольчатую ветку, встряхивает головой и оглядывается. Несколько секунд Асе кажется, что горная цепь, Эль-брус, деревья, короткая зеленая трава, сосна и облака, то есть вся природа, похожи на Никиту. Ася берет его за руку, а Никита думает о том, что Ася, конечно, ни на какой север не поедет, что сам он точно застрял в Кисловодске, что ходить ему теперь каждый год за нарзаном под закрытие галереи, чтобы к бою курантов вода не потемнела.



Алан МУСАЕВ

ПЕРЕСПЕЛЬЕ ГРОЗДЬЯ

СТИХИ



ПЕТРОВСК

Не город, а тюрьма — грудная клетка!
Чужой совсем, а настоящий здесь?
Темничная межреберная сетка
закрыла сердцу мир? Иль он исчез?

Ушли, ушли! Теперь уже напрасно
искать вас здесь: и город, и тебя.
А кто же вместо вас? Кем я потаскан?
Двойник... Двойник! Не город, а тюрьма!

Сказать хочу, да только не сумею
ни подобрать, ни выговорить слов.
Кто он такой? Как звать его линею
знакомых глазулей зданий и голов?

Но нет, я не могу сказать: «Напрасно».
Ведь если я не отыщу тебя,
то все, что будет после, — будет поздно
и все, что было раньше, — было зря.

* * *

Все летело на юг,
отогреться хотело скорее.
Мой измученный друг,
уходи навсегда, да быстрее.
Уходи, улетай,
уползай на окраину света,

где не ходит январь
в своей шубе морозного цвета.
Где не воют ветра,
напевая проклятья-баллады.
Где под тенью шатра
нет мороза, есть только прохлада.
Мой измученный друг,
перестань притворяться согретым.
Кто же жил без разлук?
Обещаю остаться поэтом.
Только ты уезжай,
не дели со мной холод отчизны.
Не могу я с тобой —
Я к теплу непомерно капризный.

* * *

Гефсимания — место тоски,
погребение — место покоя,
все другое сжимают тиски
боевого, безликого строя.

Покажи нам стигматы свои.
Мы своими поделимся тоже.
Посмотри, я прошу, посмотри,
как уроки мы учим до дрожи:

перестрельные арии вмиг
полный зал собирают. Sold out!
В оркестровом окопе возник
новый хит — что-то в жанре дип-хаос.

Композиторы в моде опять,
бьются оземь ракетами, пылью.
И не может никто устоять,
когда в небе поют эскадрильи.

Ты учил нас любви, говорят.
А скорбеть мы учились в «Норд-Осте».
Да, я знаю, что ты — виноград,
только мы — переспелые гроздья.

ДВОЙНИК

Нам бы стать чем-то целым и неотделимым,
чтоб без швов, лоскутов или спаек меж тел,
чтобы денно и нощно мы были любимы —
ни тобой, и не мной — чем-то белым, как мел.

Чем-то новым, другим, симметрично прекрасным,
говорящим на нашем с тобой языке,
чтобы день ото дня беспрерывно, всечасно
мы с тобою шептались, таясь в двойнике.

Мы — кристалл, мы — живая тоска друг по другу,
мы — любовь, мы — небесная нежность без слов,
мы — молитва без звука, летящая к Богу,
и мы сами себе — и свобода, и кровь.

Нас теперь ничего больше не потревожит:
ни гроза, ни набат, ни разлука, ни мор.
Одинокий двойник, ни на что не похожий...
Это сон или явь? Не пойму до сих пор.

* * *

Небо, ты слышишь, как дождик стучится к земле?
Будет еще! Достучаться сумеет однажды.
Дальше хоть что, хоть под нею, над нею во мгле —
дальше не знаю, что будет. И, впрочем, неважно.
Все ли равно: просочится к ядру и кап-кап —
ритм отобьет напоследок да чмок на прощанье.
Или о твердь разобьется, вернется во хлябь?
Хватит раздумий, смотри, у тебя прихожане.
Носом воротят и слезно бубнят: «Не хочу».
Мало ли, мило ли — дело житейское все же.
Поздно, ребята, теперь обращаться к врачу.
Больше того: он вчера был вам тоже не нужен.
Вы теперь — тучи, вы — небо над городом Z.
Слышите, как ваши слезы по новой стучатся?
Матерь-земля не желает несчастных монет.
Только слезинки, кап-кап, жаркий чмок домочадцев.

* * *

Расскажи почему... Почему умирает пехота?
Неужели бессмертье полка — лишь посмертный оммаж?
Значит, все это ложь, это блажь из-под линз перископа.
Значит, все еще есть на планете великий мираж.
Никуда не ушел — воцарился, напротив, и рыщет,
и фонариком светит в ночи: подойдешь — и пропал.
Вот, держи для тебя свежевырытое топорище,
а топор ищи сам — здесь повсюду ненужный металл.

Как легко и светло падать вниз с высоты Вавилона.
В этом резвом пике я сумел отыскать что хотел.
И я падаю вновь в города. И я снова и снова
разрастаясь грибом — весь невинен и весь полнотел.
Пустотелая вошь сохраняет в себе эту память,
словно птичья трель поутру знаменует конец
оголтелой зимы. Но опять поднимается знамя,
и живые полки, весь бессмертие ищащий жнец,

ружья к сердцу прижав, все шагают, шагают, шагают,
вечно топчут плацдарм к своему гонорарному раю.

* * *

Посвящается

*К. Ш.
М. А.
З. С.
И. Д.
А. И.*

я по стуку колес отмеряю свой путь
три-четыре опять три-четыре
ни про что ни о чем отстучалось забудь
только горечь все шире и шире

и когда тебе вдруг снова вспомнится он
этот гул привокзальный то значит
ты вернулся домой он теперь заселен
кем-то новым и им обозначен

как баржа без руля уносящая вдаль
все что было тебе так знакомо
все что дорого было ты просишь отдать
только толку уже никакого

твой язык незнаком никому на борту
и походка твоя странновата
куда легче плывется зашитому рту
чем донельзя забитому ватой

ну а что про меня не ищи меня там
я прирос к позабытой столице
я брожу по уже опустевшим местам
и рисую по памяти лица

своих старых друзей не успевших пропасть
не пришедших к началу отплытья
я рисую тебя и петровская пасть
снова мчится вокзальною прытью

верный пес по ж/д возвращается в пять
по привычке в вагонном пунктире
ни единой души и опять и опять
отмеряю свои три-четыре



Ибрагим ХАИДОВ

ЛАНДЫШИ

РАССКАЗ



В это время года я согреваюсь горячим чаем и подолгу смотрю в окно на снующих туда-обратно, кутающихся в воротники прохожих. На водителей, что прогревают машины. На выбеленные снегом тротуары и дороги. Вглядываюсь вдаль, словно кого-то жду. Но ждать мне давно уже некого. Лишь воспоминания бередят, унося меня в холодную зиму 1994-го.

Встретив свой двенадцатый Новый год под звуки разрывающихся бомб и автоматные трели, я слышал отовсюду непривычные слова: «оппозиция», «независимость», «ввод войск». И понимал только одно — все вокруг убеждены, что происходит что-то плохое.

Из дальнего угла подвала пробивается маленький огонек от лампадки, которую кто-то прикрепил перед страницей из большого настенного календаря с изображением иконы Божией Матери. Сквозняк все время гасит слабое пламя, а бабушка Люба со второго этажа, охая и крестясь, зажигает его снова и снова, и противный запах керосина заполняет подвал.

Где-то скулит дворовая собака по имени Марта. Тусклый свет от лампадки освещает лишь пару топчанов и приземистый круглый столик, который принес кто-то из жильцов. Марту не видно, но, прислушавшись, можно понять, что скулит она где-то у входа — черная собака в черном подвале.

Женщины, низко склоняясь над глубоким тазом, моют посуду, а я, кутаясь в шерстяное одеяло, наблюдаю за ней. Один конец полотенца у нее на плече, другим она шустро протирает тарелки и складывает их на край стола. Тонкие влажные ладони так и мелькают в рыжеватом свете лампы. Не успеешь оглянуться, как на столе уже выстроилось несколько невысоких башенок из тарелок, мисок и кружек.

Я жадно ловлю каждое ее движение, безмолвные жесты, полуулыбки, короткие взгляды. И ощущаю, как новое, незнакомое чувство овладевает мною. Вновь и вновь переживаю его пронзительную

силу и головокружительную остроту, которых не испытывал больше уже никогда в жизни.

Незадолго до начала войны родители получили квартиру в новом девятиэтажном доме. Соседи прекрасно ладили друг с другом и, можно сказать, жили одной семьей. А война еще теснее их сплотила.

Я всегда сторонился шумных компаний сверстников. Поэтому, оказавшись в подвале, сразу же облюбовал дальний угол у слухового окна. Здесь я подолгу пропадал на страницах старых романов: бороздил просторы морей в поисках сокровищ, отправлялся во времена короля Артура, улетал далеко на Аляску вместе с героями Джека Лондона. Покидал эти чудесные миры грез лишь иногда: когда мужчины собирались на коллективный намаз или чтобы поесть.

Традиции нашего народа соблюдались даже в подвале: вначале едят мужчины и только потом женщины, а дети трапезничают за отдельным столом. Накрывают на стол женщины. И, должен сказать, не было для меня еды вкуснее, чем когда ее подавала она!

После еды я вновь брался за книги. Первые страницы, как всегда, шли тяжело из-за непрекращающихся обстрелов, но спустя несколько минут я с головой погружался в выдуманные миры, пускался в долгие приключения вместе с героями. Дневной свет ускользал очень быстро, словно кто-то забрасывал в наше окошко веревку и вытягивал его, забирая с собой до следующего утра.

Закрывая книгу, я возвращался в мир, к которому так и не привык: лампа, серые шершавые стены, холод, усталость от постоянной бомбейки. Глядел на родителей и соседей, которые занимались делами и всем своим видом старались показать лишь спокойствие: «Не волнуйтесь, это всего лишь новая игра».

И действительно, несмотря на поселившиеся снаружи хаос и смерть, в нашем подвале всегда было весело, пусть за этим весельем временами украдкой проглядывал страх. Инстинкты никуда не скроешь: трясущиеся руки, дрожь во время внезапных взрывов,очные кошмары или бормотание во сне.

Вечерами взрослые устраивали танцы. Конечно, мне хотелось танцевать только с ней — той, которая владела моим сердцем. И тогда, танцуя на виду у десятков людей, особенным наслаждением было поймать взгляд ее очаровательных карих глаз — взгляд, отражавший, казалось, всю глубину вселенной. Иногда она улыбалась, и на ее щеках появлялись крошечные ямочки. Весь мир исчезал, переставал быть чем-то важным. Были только я и она.

Мой отец никогда не учил меня танцевать, хоть и работал хореографом в детском национальном ансамбле. Все из-за чеченских

традиций: трудно забыть ощущение вселенского счастья в раннем детстве, когда отец читал мне сказки, учил кататься на велосипеде, мог запросто шутить и дурачиться, но к семи годам все изменилось. Началось взрослое и сдержанное отцовское отношение — у нас в народе говорят, что так воспитываются воины. Зато уж бабушке точно ничто не мешало заниматься со мною танцами, когда я приезжал в наше родовое село.

— Какой ты мужчина, если не умеешь танцевать! — говорила она.

Как сейчас помню бабушкины уроки.

— Представь, что она рядом. Смотри ей прямо в глаза! Держи спину! Пари как гордый орел! Покажи свое горячее сердце джигита! — кричала она, настукивая ритм на табурете.

А потом продолжала:

— Что наступился как сыр? Улыбнись! Ты должен показать, что рад с ней танцевать. И ни на секунду не отпускай ее — веди по кругу!

Бабушка входила в азарт, смеялась и кричала:

— Вот, вот, молодец! Ай, какой растет у меня внук! Ай, какой красавец, вылитый дед!

И затем снова:

— Жестче шаг! Не бойся, ноги не отвалятся!

Ритм вперемешку с ее звонким смехом звучал все громче.

В такие мгновения я улавливал внутри себя жар, чувствовал, как тело само движется в танце.

После этого, еще тяжело дыша, я ложился подле бабушки, клал голову ей на колени, и она, гладя меня по голове теплыми морщинистыми руками, продолжала:

— Закончил танцевать — легонько поклонись, улыбнись. И не забудь приложить правую руку к сердцу, выкажи почтение!

Она рассказала, как на свадьбе брата встретила моего деда, и он пленил ее молодое сердце с первого танца. О том, как на следующий день к ее отцу пришли его родственники и просили выдать дочь за них¹ замуж.

— Ах, какая пышная была свадьба, — вздыхала бабушка. — Огромный стол, все соседи собрались, детишек полон двор, и все радуются, танцуют, поздравляют.

— А потом вы часто танцевали? — спросил я.

— Что ты, сынок! — склонив голову, ответила она. — Не положено жене танцевать с мужем, не принято это у нас.

¹ За них — в чеченском обществе девушка становится, в первую очередь, снохой и только потом женой. Выходя замуж, она становится частью всей семьи мужа. (Здесь и далее прим. автора.)

Как и у любого горца, лезгинка была у меня в крови. Бабушка давала мне столь необходимую уверенность, которой, впрочем, оказывалось недостаточно: на публике выступать я все же робел. Все изменилось, когда я встретил ее.

В то время в клумбах зацвели белые хризантемы. Под ласковым летним солнцем грелись бродячие коты, а ребятня лакомилась мороженым, копошась в дворовой песочнице. Я только-только вернулся из магазина, держа в руке пакет с молоком и еще холодной бутылкой минералки, как услышал рев мотора. И спустя мгновение во двор ворвался свадебный кортеж. Во главе колонны ехал старенький белый мерседес, блестящий на ярком солнце, а за ним едва поспевали две черные волги и несколько разномастных жигулей. Все машины были увешаны цветными лентами, бантиками и воздушными шарами.

Ребятня взвизгнула и сорвалась с места, когда кортеж остановился у моего подъезда. Из машин высыпал люд: женщины, мужчины, дети... Все они с улыбками на лицах обступили мерседес. Статный усатый парень открыл заднюю дверь, откуда показалась невеста в ослепительно белом платье. Тут же из подъезда вывалилась еще большая толпа. Все встречали невесту, кричали пожелания. Пожилая женщина в окружении гостей смело прошагала к невесте и подняла фату, откуда показалось изящно-худенькое лицо.

Женщина достала шоколадную конфету и откусила половину, а другую отдала невесте. Значит, это мать жениха! Этим нехитрым жестом она показала, что принимает девушку в семью. Я наблюдал, как невесту подвели к подъезду, у которого лежал веник на войлочном коврике. Она аккуратно убрала вещи в сторону, после чего ей на руки усадили маленького мальчика. Невеста поцеловала ребенка, и на его розовом лице появилась улыбка. «Хороший знак», — промелькнуло у меня в голове.

Кто-то заиграл на аккордеоне, и тут же послышался барабан. Люди собрались в круг и принялись танцевать, а я, встав за их спинами, смотрел, как ловко выплясывают гости, и хлопал.

Там, на противоположной стороне круга, я впервые увидел ее — смуглую девочку в розовом платье с рюшами на коротких рукавах. Ее черные выющиеся волосы спадали на плечи, переливаясь на ярком солнце, а большие карие глаза были прикрыты алым платком. Она грациозно оглядывала танцоров, притопывала маленькой серой туфелькой и улыбалась, то и дело о чем-то переговариваясь с подружками.

Она отдаленно напоминала мне маму и этим притягивала еще сильнее. Я почувствовал, как к лицу прилила краска; губы сами

растянулись в улыбке. Словно в забытьи, я вошел в круг и жестом пригласил ее танцевать.

Ах, какой это был танец! Я кружился в ритме лезгинки, вспоминая уроки бабушки, слыша свист и изумленные взглазы товарищей, которые все больше меня раззадоривали. Украдкой я ловил на себе гордый взгляд отца.

Нет, не прошли даром бабушкины уроки! Мне показалось, что промелькнуло лишь несколько мгновений — и вот она уже скользнула от меня обратно к подружкам. Я почувствовал себя одиноким, будто начатый разговор оборвался на полуслове, поэтому, станцевав еще раз, покинул круг и ушел восвояси.

Вечером я отказался ужинать, ушел к себе в комнату и долго не мог уснуть. Закрывал глаза, а ее образ всплывал снова и снова. Я ворочался в постели, а когда услышал за дверью легкие шаги, не узнать которые было невозможно, притворился спящим.

Это была мама. Она поправила одеяло и, целуя меня в лоб, прошептала:

— Мой мальчик влюбился. — И, помолчав, добавила: — Я верю в тебя, сын!

Ее рука скользнула по моей щеке. Я приоткрыл глаза и увидел, как она тихонько покидает комнату, оставляя меня наедине с мыслями о прекрасной незнакомке.

С того дня я думал только о ней.

Наступило воскресенье. Лучи солнца скользнули через окно в мою комнату, и я будто почувствовал, как они говорят мне: «Хватит спать! Пора на улицу!» Я открыл окно и выглянул. Свежий ветерок коснулся лица, и по телу пробежала приятная волна мурашек.

Город давно не спал: с высоты девятого этажа я видел, как вдалеке мелькали крошечные, будто игрушечные, машинки. А внизу по тротуарам, словно муравьи, туда-сюда сновали люди. Интересно, куда они торопятся в воскресное утро?

Вдруг в воздухе воспарил ярко-зеленый змей соседского мальчика Рахмана. Я натянул шорты и футболку, крикнул маме, что иду гулять, и выбежал во двор.

Рахман носился кругами, глядя в небо и держа в руках едва заметную черную нить.

Я поздоровался и спросил у Рахмана, как дела. Но это лишь из вежливости, в то время как из груди рвалось совсем другое:

— Слушай, а кто она — та, что танцевала со мной?

— А-а, это Аминат из двадцать девятой квартиры. Они недавно переехали, — ответил Рахман.

Целый день это имя звучало во мне как заклинание, перед глазами вновь и вновь возникала она, кружащаяся в танце.

После обеда, когда немного спала жара, Аминат вышла с подружкой во двор. Я выглядывал из-за почтовых ящиков и не решался подойти. Куда делась моя вчерашняя смелость? Подружка стояла и глядела, как Аминат рисовала на асфальте: грациозно выводила контур, иногда отстранялась, чтобы взглянуть на рисунок со стороны, затем принималась штриховать выверенными движениями изящно-тонкой руки.

Идиллию нарушил Халил — долговязый светловолосый мальчишка из соседнего двора. Он был на пару лет старше меня и часто задирал местных ребят и девчонок.

Развязным шагом Халил подошел, взглянул на рисунок, сложил руки в замок и, корча важный вид, проговорил:

— Да, малышня, мазня ваша так себе.

Аминат поглядела на него снизу вверх, но, ничего не ответив, продолжила рисовать.

Халил прошелся прямо по рисунку и легонько пнул один из мелков.

— Чего тебе надо? — фыркнула подружка Аминат.

Тот взглянул на нее исподлобья и ответил:

— Хочу поделиться опытом абстракционизма! — Халил смачно плонул на рисунок и стал растирать ногами, раскатисто хохоча.

Во мне будто что-то вскипело. Я выпрыгнул из-за ящиков, бросился к Халилу и обрушился на него с кулаками. Тот отскочил, замахнулся и влепил мне так, что перед глазами помутнело. Я пошатнулся, но продолжил махать кулаками, не глядя, куда бью. И спустя мгновение почувствовал, как кто-то тащит меня за шкирку.

— Это что вы тут устроили? — грохнул женский голос.

Я оглянулся и увидел, что держит меня соседка. Ткнула пальцем в сторону, где стоял Халил, и закричал:

— Это он! Он! — Но не успел я очнуться, как Халила уже и след простыл.

— Убежал, — тоненьkim голоском воскликнула Аминат.

Соседка покачала головой и, что-то бормоча, пошла к подъезду, а я уселся на бордюр и, запрокинув голову, пытался остановить кровь из разбитого носа.

— Держи! — прозвучал голос Аминат откуда-то сверху.

Я повернул голову, и на меня упала ее тень. Девочка держала в руке белый носовой платок.

— Ну же, бери, — повторила она.

— Я ведь его испачкаю...

— Не страшно, ты помог, заступился. Это дороже тысячи платков! Платок я все-таки взял, хоть и не хотел пачкать. Просто не смог отказать ей.

— Тебя как зовут? — спросила она.

— Эльдар.

— А меня Аминат. — Она наклонилась, рассматривая мой разбитый нос, и спросила: — Тебе больно?

— Нет! — выкрикнул я и сорвался с места.

Ноги сами унесли меня домой. Не отвечая на расспросы родителей, я ушел в свою комнату и лег, отвернувшись к стене и сжимая пахнущий ландышами, красный от крови платок. Наверняка я обидел Аминат тем, что убежал. Теперь лежал и обдумывал свой поступок: она пожалела меня, а это именно то, чего я больше всего не люблю.

Первого сентября пришлось идти в школу с опухшим носом. Я избегал встречи с Аминат. И всякий раз, когда видел ее в коридорах или во дворе школы, пытался улизнуть. Три недели удачно скрывался, но как-то, возвращаясь через парк из музыкальной школы, услышал за спиной шаги и понял, что меня кто-то догоняет.

— Эльдар, постой! — раздался звонкий крик.

Я оглянулся, увидел Аминат и, оторопев, остановился.

— Куда пропал?

— Да так, никуда, — ответил я, стараясь не смотреть ей в глаза.

— Я видела тебя в музыкалке. Сперва подумала, что обозналась, но когда ты выходил, то поняла, что это ты, — затараторила она. — А что ты изучаешь?

— Фортепиано, — едва выговорил я.

— А я пою. Будем учиться вместе! — улыбнулась она.

Она улыбалась! Не сердилась, не хмурилась, не ерничала, не спрашивала о том злополучном дне, когда мне разбили нос. Я молча взял из ее рук нотную папку, и мы пошли домой.

В голове я прокручивал десятки и сотни мыслей, как начать разговор. Но все казалось либо неуместным, либо недостойным ее внимания. Она тоже молчала, но каждый раз, осмелившись взглянуть на нее, я ловил улыбку и нежный взгляд, после чего любые разговоры становились излишни. Я шел не торопясь, ворочил ногами опавшую листву. И любовался желтеющими деревьями, молчаливыми фонтанами, листьями-корабликами, плывущими по глади луж, в которых отражалось по-осеннему хмурое небо.

Рядом с ней время летело незаметно. Не успев оглянуться, мы оказались возле нашего дома.

— Ну, мне пора, — прошептала она, забирая у меня нотную папку.

Словно невзначай я вложил в ее ладошку несколько кленовых листьев, сорванных по дороге.

— Ой! Это мне?! Спасибо! — Она опустила голову то ли в смущении, то ли в растерянности, и в ее волосах блеснула заколка в форме веточки ландышей.

«Вот дурень, — думал я, провожая ее взглядом. — Тоже мне, нашел что подарить! Охапку листьев... Болван! Болван!»

Мне казалось, каждое движение, каждый жест в ее сторону должен быть идеален. А выходила лишь какая-то нелепица. Хотя, судя по всему, она прощала мне это.

С утра мы вместе спешили на занятия, а после обеда — в музыкальную школу. Все больше времени мы проводили вдвоем. Мне казалось, что счастливее нас никого нет. Я посвящал Аминат свои первые неуверенные стихи, аккомпанировал ей на совместных занятиях в музыкальной школе. То и дело, завороженный ее пением, я сбивался с ритма либо не попадал по нужным клавишам пианино, от чего преподаватель вздрагивал или морщил высокий с залысинами лоб. «В облаках витаешь, Эльдар! Соберись!» — яростно махая руками, вскрикивал он. И я старался играть чисто, пока снова не забывался и не начинал тонуть в ее голосе.

Во дворе и в школе над нами посмеивались. Дразнили в основном меня: «Ухажер идет». Или, глядя, как я ношу ее портфель, называли подкаблучником. Не раз я готов был сорваться — резко ответить или ввязаться в драку. Я чувствовал, как внутри словно натягивается тугая пружина, готовая тут же выпрыгнуть на обидчика. Но меня всегда останавливало ее тихое и спокойное: «Эльдар, не надо. Уйдем отсюда». Удивительно, какую власть надо мной имел голос Аминат. Я и так был немногословным, а рядом с ней и вовсе немел. Поэтому больше молчал и слушал ее.

Когда за пределами подвала уже пировала смерть, стирая с лица земли все, что нам было дорого, мое сердце согревали воспоминания о том, как мы с Аминат кружимся в лезгинке. Музыка уносит нас далеко-далеко, и кажется, что мы танцуем в небе, а под нами лишь горы, луга и бурные, звонко поющие реки Кавказа.

Злая и голодная зима наконец отступила. С приходом весны не просто уходят долгие зимние ночи — просыпаются надежды.

Из маленького оконца дул весенний ветер, который приносил едва ощутимый запах гари. Но после спретого подвального воздуха даже он казался волнующим.

В подвале мы с Аминат общались лишь на бытовые темы. Вековые незыблевые традиции не допускали даже намека на вольность: рядом находились наши родители и ее брат. Мне оставалось только наблюдать за ней, любоваться.

Приближался праздник — Восьмое марта, и я думал, чем бы порадовать Аминат. Она все еще носила ту заколку, и, словно нарочно, через подвальное окошко я заметил, как на дворовой са-модельной клумбе, сооруженной из крашеной автомобильной покрышки, неуверенно пробиваются ранние ландыши. Сначала показались остроконечные листочки, на следующий день вытянулись стебельки, на которых понемногу стали появляться колокольчики соцветий.

Аминат! Я закрывал глаза и видел ее улыбку. Видел, как она держит в нежных руках букет ландышей. Представлял, как она обрадуется, как загорятся ее глаза.

Когда на город опустились сумерки и подошло время спать, я лег в одежде. Мама спрашивала, все ли в порядке, трогала мой лоб, но я лишь холодно отвечал, что просто замерз.

Долго еще кто-то бродил по подвалу, и черные силуэты теней ползли по потолку и стенам. Усталые голоса все звучали, а я лишь делал вид, что крепко сплю, в то время как сам изо всех сил старался слышать, чувствовать, внимать. Я ждал, пока подвал утихнет, пока все улягутся.

Наконец все затихли. Я сбросил одеяло и огляделся: лампадка едва горела, спящие люди посапывали, изредка беспокойно ворочались, кто-то громко хрюпал. На цыпочках я подобрался к кухонному столу, взял фонарик и прокрался к двери. Медленно и осторожно откинул крючок и вышел. Холодный воздух ударил в лицо, вскружил голову. Двумя руками я схватился за перила и, словно захмелев,остоял так несколько мгновений. Затем аккуратно прикрыл дверь и стал подниматься по ступенькам, освещенным голубоватым лунным светом.

Издалека доносился приглушенный грохот войны, словно раскаты грома перед весенным дождем. Ах, если бы это был гром!

Запахнув плотнее пальто и прочитав молитву, я прошагал мимо подъезда, над которым нависал полуразвалившийся карниз.

Я шел мимо детской площадки. Искореженные трубы качелей, разорванные горки и лестницы зловеще торчали, поблескивая в холодном лунном свете. Взглянул на свой дом. Его уцелевшая часть хранила следы недавнего пожара, будто кто-то огромной кистью мазнул по нескольким этажам, вымарав черной краской. Чуть выше нетронутая огнем была и моя квартира. На одном из окон, поскрипывая на ветру, висела пустая рама.

Как давно я не был дома! Целые сутки я проводил в сыром подвале, а тут вдруг ощутил свободу. Нельзя было не заглянуть. Я просто обязан! Метнулся по лестнице, и девять этажей показались мне мгновением. Толкнул ногой приоткрытую дверь и вошел.

Тусклый свет фонарика выхватывал из темноты битые стекла, рваные куски обоев, обвалившуюся там и тут штукатурку. Остатки мебели на пути приходилось отодвигать, чтобы прописнуться из коридора в комнаты. В гостиной не было буфета, его еще зимой сожгли в подвальной печке-буржуйке. На полу поблескивали осколки хрустала. Теперь казалось смешным, что однажды мама наказала меня за разбитую хрустальную вазу. «Кого теперь поставишь в угол за все это?» — пронеслось в голове.

Открыл дверь в свою комнату и, ошарашенный, замер. От внешней стены остался лишь металлический каркас, так что прямо отсюда я наблюдал, как со стороны Аргуна и Гудермеса город полыхал огненным заревом.

У смежной с гостиной стены стояло мое пианино, заботливо накрытое запыленным брезентом. В ту минуту я почувствовал, что картине разбитого войной мира не хватает звуков. Стянул брезент, и он глухо повалился на пол. Я поднял крышку, коснулся пальцами клавиш и понял, насколько соскучился по музыке. Не только потому, что музыка и мой инструмент были частью мирной счастливой жизни, нет!

Хотелось нарушить молчание мертвой квартиры, хотелось сказать миру, что я живой, что еще осталось что-то важное в этом разбитом городе. Стул я не нашел, а вместо него придинул прикроватную тумбу, сел и снова оглянулся на город.

Полонез Огинского полетел над руинами и развалинами родного Грозного. Музыка громко тосковала в ночи по моему разбитому детству.

Пальцы сами бегали по клавишам, и я захлебывался слезами. Играя как в последний раз в жизни, и каждый новый аккорд будто пронизывал меня насеквоздь.

Звук завершающей ноты замер в воздухе. А когда угас, я все еще глядел на черно-белые клавиши.

За спиной послышался шорох, я вскочил, чуть не споткнувшись о тумбу. У стены стояли два человека в масках на головах и с винтовками на плечах.

— Не бойся! — почти шепотом сказал один из них.

Я потянулся к фонарику.

— Не стоит, не включай! — сказал другой. — Мы давно здесь стоим и слушаем. Сыграй еще что-нибудь.

В задумчивости я повернулся к инструменту. Что же сыграть? Вспомнилась «Даймохк»². Я тронул клавиши, и азарт этой мелодии быстро захватил меня.

² «Даймохк» — музыка чеченского композитора Олхазура Ганаева.

Неподалеку раздалась автоматная очередь. Сквозь треск проился клич «Аллаху Акбар!». Война вернулась. Я вскочил, захлопнул крышку пианино и прошмыгнул мимо военных.

Надо спешить, пока меня не хватились!

Едва не забыв, зачем выходил, я рванул к клумбам. Нарвал цветы и тихо спустился в подвал. Взял со стола стакан, зачерпнул воду из кастрюли и опустил туда стебли ландышей. Букет оставил на кухонном столе. Посмотрел на него последний раз и вздохнул — как жаль, что я не мог открыто подарить их Аминат, ведь с детства знал, что показывать чувства непозволительно.

«Она поймет, что цветы для нее», — с этой мыслью я и уснул.

На следующий день я проснулся позже всех. Вышел в общую комнату и поймал взгляд Аминат. Она прошла мимо и — нет, мне не показалось — одарила меня улыбкой.

— Как ты это сделал? — спросила она, и тут же, не дожидаясь ответа, добавила: — Спасибо!

Я молча отвел взгляд. Никто, кроме нас, так и не узнал, кому предназначался букет ландышей в пятнышках сажи. Было много догадок и шуток по этому поводу, но все без толку.

И лишь спустя годы мама рассказала мне, что знала нашу тайну. Она видела, как я выходил из подвала, украдкой пошла следом, слышала мой последний полонез Огинского. Я был изумлен и спросил: «Почему не остановила?» Она просто улыбнулась, и больше мы никогда не говорили об этом. Моя мама была мудрой женщиной.

Тянулись дни нашего вынужденного заключения. Стрелять стали меньше, появилась хрупкая надежда на мир. Родители скрепя сердце стали выпускать нас на улицу. Но смотреть на разруху вокруг было больно — слишком яркими казались воспоминания детства.

Выходя во двор, я садился в укромном местечке на углу дома и открывал очередную книгу: все же читать при дневном свете было гораздо приятнее, чем в темноте подвала.

К тому времени я дочитывал роман Оноре де Бальзака «Отец Горио». Сюжет книги не вполне совпадал с тем, что происходило со мной и моими близкими, но пробуждал жалость к родителям и осознание тщетности их усилий сделать мою жизнь хоть чуточку лучше. Однако я не терял надежду, верил, что война вскоре закончится и жизнь наладится. Я не переставал верить в людей, в торжество справедливости, милосердия, доброты. Но судьба приготовила для моей веры страшное испытание.

В тот день меня разбудила мама.

— Вставай, соня, очень нужна твоя помощь! — сказала она, потрепав меня по волосам.

Сквозь сон я буркнул:

— Что, мам?

— Поднимайся, присмотришь за малышами, пока мы с Аминат и бабушкой Любой стираем.

Я потянулся, выпил чаю и вышел. На улице вовсю пели птицы. У лестницы, ведущей в подвал, облепив песочницу, словно стайка воробьев, играла детвора. Я присел на табурет, прислонился к стене и, пригреввшись на ярком весеннем солнце, задремал.

Рев реактивных двигателей выдернул меня из полусна. Разрезая небо, два самолета, словно коршуны, пролетели над головами. Быстро как мог я затолкал детей в подвал и помчался за мамой. Женщины стирали за углом дома — так близко и так далеко! Забежав за угол, я увидел, как они в панике сдирают с веревок белье и спешат в укрытие. Я выхватил тазик с бельем из рук мамы и помог ей спуститься в подвал.

Казалось, что опасность миновала, рев утихал, но очень скоро я услышал его с новой силой. Самолеты возвращались! По телу бежал ледяной пот, а я все озирался во мраке подвала и не видел Аминат. Выскочил на улицу — вот она! Аминат со всех ног бежала навстречу с охапкой белья. Грохнуло! Я ощутил глухой удар и тут же услышал еще один взрыв, но уже не мог ничего поделать.

Когда я открыл глаза, то увидел над собой чистое небо без единого облачка — только вспененная борозда от самолетов делит его пополам.

Тело горело. Я поднялся и, шатаясь, побрел куда-то, пытаясь собраться, сосредоточиться, но все вокруг расплывалось. Где-то слышал голоса и сам не переставая кричал:

— Аминат! Амина-а-а-ат!

Кричал во все горло, но никто не ответил.

Хотел идти, искать ее, но ноги сами подкосились, и я канул во мрак.

Первое, что я сумел рассмотреть, — грязно-белый халат склонившегося надо мной человека, что старательно забинтовывал мою руку — вернее, то, что от нее осталось. Он что-то бубнил под нос, иногда воскликая: «Придержите здесь!» И тогда появлялась еще одна рука, выполнявшая требования человека в халате.

Боли я не чувствовал. Все мысли были об Аминат. Я тихо бормотал ее имя, глядя на человека в белом, и слышал голоса вокруг. Сколько их? Кто здесь еще?

Человек в белом взглянул на меня и сказал: «Очнулся! Ничего, подлатаем тебя, только не переживай! Терпи!»

Из дальней части подвала послышался женский плач. Я хотел взглянуть, податься туда, но чьи-то руки крепко удерживали мою голову. Взглянув на человека в халате, я прошептал: «Пусти». Не дождавшись ответа, попытался встать. Сильная рука крепко прижала меня, и я отчаянно крикнул:

— Пустите меня!

И потом громче:

— Пу-сти-те! — Крик эхом разнесся по подвалу.

Хриплый старческий голос прозвучал где-то совсем рядом:

— Пустите его, так будет лучше! Не наживайте себе врага.

Руки, державшие меня, ослабли, и я осторожно встал. Почувствовал под ногами твердый бетон и, шатаясь, пошел туда, где столпились люди. Мама, рыдая, пытаясь меня удержать, хотела обнять и уложить обратно, но я, словно заговоренный, смотрел и шел туда, где гомон, плач, сгорбленные спины. Еще пара неуверенных шагов, и я протиснулся меж людей.

Аминат лежит на полу, словно искалеченная кукла, укутанная в окровавленную простыню. Ее мама придерживает голову дочери, а в спутавшихся угольно-черных волосах виднеется та самая зачокка в форме веточки ландыша. Мать беспрестанно рыдает, и ее горькие слезы капают на безмятежное лицо Аминат.

Я встретился взглядом с ее отцом. Он покачивал головой, будто не в силах поверить, что она умерла. Играя скулами и все глядел на нее почти не моргая. Я шагнул к нему навстречу, и все вокруг закружилось, заволокло пеленой. Я изо всех сил старалася устоять на ногах, но в то же мгновение мир погас. Я ощутил, что падаю. Падаю, падаю, падаю в бесконечную темноту одиночества.

С тех пор прошло много лет. Каждую зиму я мысленно возвращаюсь в 1994 год и, как прежде, с нетерпением жду, когда теплые весенние лучи пробудят первые ландыши. Каждый год я приношу их к памятному камню, установленному на месте гибели Аминат. Букет ранних ландышей, аккуратно перевязанный алым, как кровь, платком, — в память о моем первом несбышившемся чувстве.

Я жив, хожу по земле, дышу, радуюсь восходящему солнцу. Есть в моей жизни любовь и детский смех. А у Аминат были только ландыши. Мои ландыши! Большего я ей дать не успел.

Магомедрасул МУСАЕВ

МОСКВА — ИТАКА

СТИХИ



В АГОНИИ К ГЕФЕСТИОНУ

А. К.

*M*олитвы растерты
В аорте дымящих,
В парфянской аорте
Базаров горящих.

Молитва бессильна,
Молитва продрогла:
Я буду Ахиллом,
Останься Патроклом.

Мне чудится ревность
Дыханьем Шираза,
Но тело напевно
Вздыхает проказой.

Персеполь обуздан —
Напишется эпос,
Подобный искусству,
Бегущему слепо.

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СЕМЯ

Не только из глины,
Не дымом,
Не джинном
И точно не Богом,
А вами, мужчина,
Был создан Адам, —
Слезою застывшей
На вздутой щеке
Безвинной Аиши,
Айшат, Патимат,
Что выданы замуж
Не чтобы понять,
Что слово «Адам»
И есть слово «ад».

Мне в зеркале стыдно
Заметить себя.
Раздробленный выдох —
Желаю пропасть.
Я скроюсь. Не стану
Глазами пытать
Глаза,
Что колотой раной
Кровоточат.

На ощупь к увядшим напевам
По ступенькам и вдоль стены
Пройду протёррный путь к Еве...
Неприкаянный
Путь
Вины.

Вхожу.
Сажусь.
Она поет.
Тянусь.
Дрожжу.
Изогнут рот

В улыбке мертвой юности,
Луной в пустой полуночи.
Поющий:
«Чаров члатла дирзуну,
Чаргудей».

Сползает на простынь слезою
Просьба: «Чтоб не было больно».

Довольно!

Пусть губы о губы,
Закроют глаза:
«Быть может, мы влюбим-
Ся?..»

* * *

A. Мусаеву

Вагоны над жерлом Харибы,
В агонии оттянутой.
На рельсах слезятся изгибы
Волн.

«Москва — Итака».

Вокзал вдали, но в даль вдова
Глядит и ждет. Искривлен год,
И два, и три
Едва прошли...
«Ну где же ты?»

«Москва — Итака».

Изранено солнце
Молчанием моря.
Кто-то в вагоне
Проснется от горя,

Заплачет и снова
Уснет.

Полуяявь, полусон, полуустон,
Половздох.

С обветренных, но верных губ
Хриплой пеной лопнет шепот:
«Пенелопа...»

Поезд прибывает. Чайки. Итака.

ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ

Десять шагов Арлекина —
Пара часов на любовь.
Где-то поет Коломбина,
Дети играют в любовь.

Наизнанку вывернут — колпак,
Звенят по швам рубцы на теле.
В ржавчину ворот стучится шаг:
«Может, эти люди — менестрели?
Может, эти люди
В круг хотят,
Плясать,
Как мы плясали прошлый вечер?»

Пьеретта
От неба до табуретки
Натянет канат,
Куклу к груди
Нежно прижмет.
«Уйдет, уйдет!» —
Звон из груди,
А впереди —
Лиловый Пьеро
Выйдет во двор,

Воздух глотая
И пропадая
Дальним, затерянным эхом.

Ломкие пальцы разжимая,
Куклу на пол
Коломбина
Роняет.
Десять шагов Арлекина —
Десять шагов до стены.
В небе поет Коломбина,
Дети — в луну влюблены.

* * *

Менада, не надо срывать винограда
Набухшие вдохом червивые гроздья.
Менада, врастайся вдоль сада Саада
На ощупь — ашугами ломаной розой.



Арсен САХРУЕВ

ВКУС ЖИЗНИ

РАССКАЗЫ



ПЛОДЫ

Море людей. Маленькие люди идут в школу, люди постарше снуют между университетами, ведут автомобили, идут на работу. Разбухшие тучи стошили коротким дождем, пыльное солнце зажелтело с удвоенной яростью. Я стою на жаровне и задыхаюсь. Слишком много лиц и звуков.

Пахнет газом и плавящимся асфальтом. Краснолицые водители истекают злой в опущенные окна. Автомобили приварились к дороге и пронзительно верещат на сотни голосов, пробка дергается как огромный агонизирующий червь, короткими рывками ползущий в свою дыру. Какой-то дьявольский оркестр. Ударник на стройке задает ритм отбойным молотом. С каждым ударом по телу толчками разливается паника. Слишком много всего. Город задыхается, звуки переполняют его и расплескиваются, погребая прохожих под грохочущей лавиной. Я закрываю глаза и делаю глубокий вдох. Слишком глубокий. Дыхание сбивается, и я начинаю ловить ртом воздух. Каждый раз одно и то же. Успокойся и найди тень. Быстро сворачиваю вправо.

Солнце здесь еще неистовой, но, когда проходишь мимо автомоек, можно поймать холодные брызги. Пахнет сыростью и моющими средствами. Мойщики разделись до пояса и пытаются докричаться друг до друга сквозь шум воды, хлещущей по взмыленным автомобилям. Поворот налево. В нос бьет сладковатая вонь мусорных баков. Почему они всегда текут? Ладно, здесь хотя бы не так шумно, деревья глушат звуки.

Я люблю эту уличку, потому что в ней еще осталось... что-то живое. Здесь даже можно услышать птиц. Они заливаются, скрытые ветвями фруктовых деревьев, растущих за высоченными заборами. За заборами еще более высоченные безвкусные дома. Где-то даже с башенками с миниатюрными бойницами. Не хватает только маленьких флагов и крохотных пушек, стреляющих ядрами размером с грецкий орех.

Свежий ветер несет жужжение газонокосилки. Пахнет травой, цветами и тутовником. Он тут повсюду, лежит ровным толстым слоем, передавленный и утрамбованный сотнями пар ног. На другой стороне улицы рабочие прячутся от солнца в тени старого абрикосового дерева, смеются и едят абрикосы. Я иду, отмахиваясь от назойливых насекомых, летающих над гниющим тутовником, и вдруг слышу скрипучий голос с легким акцентом:

— Сынок, сколько время?

На табуретке, прислонившись к кирпичному забору дома, сидит древний старик и безмятежно смотрит куда-то сквозь меня. На нем папаха, из-под которой торчат красные уши и тонкие седые волосы. В глазах стоит густой туман, они почти побелели, и зрачки едва различимы. Морщинки вокруг глаз делают и без того доброе лицо улыбающимся. Рядом, упираясь в стену, стоит короткая клюка.

Опомнившись, я наконец отвечаю:

— Двенадцать тридцать.

— Двенадцать тридцать?

— Да, двенадцать тридцать.

— Спасибо, сынок, дай Аллах тебе здоровья.

Я иду дальше, но останавливаюсь, потому что слышу за спиной:

— Сынок, сколько времени?

— Двенадцать тридцать.

— Спасибо, дай Аллах здоровья твоим родным и тебе.

Оборачиваюсь и вижу, как навстречу идет парень с рюкзаком через плечо и чему-то улыбается. Может, старик не расслышал и решил спросить у кого-нибудь еще? Я вижу в отдалении еще одного прохожего и решаю остаться и понаблюдать. Как только тот приближается к старику, между ними происходит ровно такой же диалог, и прохожий идет дальше. Рядом со мной останавливается какой-то паренек, видимо из местных, и тоже наблюдает за тем, как старик благословляет очередного прохожего, на этот раз девочку с огромным пакетом в руке. Паренек почесывает левую ногу большим пальцем правой ноги, торчащим из резиновых тапок, и доверительно сообщает:

— Он так целый день может.

Я коротко улыбаюсь ему и продолжаю наблюдать за стариком. Ловлю себя на мысли, что больше всего мне бы сейчас хотелось вот так сидеть весь день рядом с ним в тени домов на тихой уличке и благословлять прохожих.

Паренек продолжает:

— Каждый день почти сидит. Хороший старик. У нас про таких говорят, что они уже тот свет видят. Видишь, какие глаза.

Хороший паренек. И день хороший сегодня.

— Он в ауле жил всю жизнь, а когда совсем старый стал, его оттуда забрали. Некому там за ним смотреть, людей почти не осталось.

За это время старик благословил еще троих. Ворота рядом с ним со скрипом раскрылись, выпуская длинноволосую женщину в зеленом платье. Она быстро оглядывается по сторонам и, увидев зрителей, что-то недовольно кричит старику на своем языке. Тот продолжал безмятежно смотреть сквозь нее, даже когда она взяла его под руку и, крича что-то, повела в дом. Он шел очень медленно и успел благословить двух студенток, проходивших мимо.

Завидев девушек, паренек всплошился:

— На них смотри, да. Как попало оделись и ходят.

Женщина продолжала кричать. Газонокосилка стихла. Мухи на-доедливо липли к лицу.

— Э-э, не стыдно, да, вам! — крикнул паренек студенткам. — Клян-
нусь, они в городе с ума сходить начинают. Раньше побоялись бы так
ходить, сейчас разврат везде.

Он жадно пожирает их глазами и продолжает рассуждать о паде-
нии нравов.

Солнце начинает печь судоенной яростью. Я чувствую, что зады-
хаюсь. Мимо с шумом проносятся машины. Два водителя на пере-
крестке кричат друг на друга и размахивают руками.

— Брат, у тебя десяти рублей не будет? — внезапно обращается
ко мне паренек.

Я только сейчас замечаю, что у него плохо пахнет изо рта. Знако-
мый запах, что-то нехорошее. Протягиваю ему пару монет. Старика
загнали в дом, оттуда слышны крики.

— О, от души, брат.

Я молча киваю, и он уходит. В доме кричат. Рабочие включают бен-
зопилу и начинают пилить абрикосовое дерево.

ВКУС ЖИЗНИ

Никто не хотел играть с Саидом.

— Ты же проигрывать совсем не умеешь, — сказал ему старый
Гасан и втянул жирным картофельным носом табак с потемневшего
пальца.

— С тобой не сыграл бы, даже если бы ты просил. От тебя сигаре-
тами воняет, — ответил Саид и сунул в карман грязно-зеленой курт-
ки пакетик с объеденной по краям ватрушкой.

Вокруг над клетчатыми досками мелькали десятки пар рук, грохота-
ли деревянные фигуры, стучали часы, шумели шахматисты. Эта страшная какофония была для Саида музыкой, и потому сквозь крики
подсказок, вопли протестов и споры он безошибочно уловил нена-
вистную насмешливую партию Шахбана и протиснулся к его столику.

— Вываливай! — краснощеко выдохнул Шахбан, давая шах вра-
жескому королю ферзем, и жизнерадостно оглядел столпившихся у
его стола зрителей.

— А вот так! — ответил соперник, и его ладья вплыла на клетку
перед королем.

— Фраер македонский! — победно завопил Шахбан и разорвал
большую диагональ шахом чернопольного слона.

Кричит как будто чемпионом мира стал. А с серьезными соперниками никогда не играет. Саид просунул руку к столику и ударил пешкой по столу:

— Занимаю очередь!

Он почувствовал насмешливые взгляды, но смотрел только в круглое румяное лицо Шахбана и ждал ответа. Тот пожал плечами и улыбнулся:

— Занимай. Желающих много, придется подождать.

— Позовите, когда до меня дойдет, — сказал Саид и отошел от столика.

Нужно разогреться, сыграть с кем-нибудь. Он заметил стоящих в углу мужчину с ребенком и направился к ним.

— Играете? — спросил он мужчину, кивая на расставленные перед ним фигуры.

— Нет, нет, я не умею. Сына вот привел потренироваться, он у меня в шахматную школу ходит. Не сыграете с ним?

Саид еще раз посмотрел по сторонам и, не найдя больше желающих, обреченно вздохнул:

— Ну, давайте.

Мальчику было не больше восьми лет, и он постоянно крутил головой в разные стороны. Саид протянул ему руку, мальчик перегнулся через стол и пожал маленькой липкой ручкой три пальца. От него пахло сушеным мясом и аджикой, и у Саида скрутило живот от голода. Он с теплотой подумал о самой вкусной творожной части ватрушки, которую отложил к вечернему чаю, и сделал первый ход.

Мальчик продолжал смотреть по сторонам, но легко отразил угрозу «детского» мата и методично захватывал своими фигурами пространство на доске. Саид начал зло стучать фигурами. Еще один любитель играть по учебникам. Выучиваются так, что играть тошно. Ну вот, теперь все смотрят сюда, а он уже сам отбивается от атак мальчишки.

— Смотри на доску, когда играешь. Тебя разве не учили в школе? — сказал он, натягивая пластиковую улыбку.

Мальчик вздрогнул, посмотрел на Саида, будто только теперь увидел своего соперника, и быстро сделал ход.

— Ага! — Саид радостно снял вражеского коня с доски. — Я же говорил, смотри на доску. Отдал целого коня просто так. Тебе не говорили в школе, что надо внимательно смотреть за своими фигурами?

— Отвечай, когда взрослый человек спрашивает, — голос отца угрожающе понизился.

Мальчик растерянно захлопал глазами, отдал следующим ходом еще одну фигуру и заплакал.

— Ничего, ничего, — Саид понимающе улыбался отцу. — Может, еще научится. В конце концов, не все дети способны к шахматам. К этому особый талант нужен, в школе не научат.

Мужчина поблагодарил Саида, заставил мальчика пожать сопернику руку и вывел все еще плакавшего сына на улицу.

— Опять ребенка до слез довел, — покачал головой старый Гасан.

— Ты иди, табак свой нюхай! Все мозги себе вынюхал, — огрызнулся Саид и пошел к столу Шахбана.

Тот уже ждал его и театральным жестом указал на стул напротив себя.

Шахбан начал партию, двинув на две клетки сначала одну, потом вторую крайние пешки, и с нескрываемым ехидством посмотрел на оппонента. Саид почувствовал, как начинают гореть уши. Этот пройдоха снова хочет оскорбить его, хочет унизить, обыграв после такого начала.

— Ты мне скажи, Саид, ты зачем пришел вообще? — спросил Шахбан, продолжая ехидно улыбаться.

— Играй молча!

— А вот шах!

— Ну и что?

— А вот еще шах! Все, выносите тело!

— Ты играй, играй.

— А вот тут — хрясь!

— Ну, я тоже съем.

— А вот этого хайвана я просто так заберу, — Шахбан быстро снял с доски коня соперника.

У Саида заколотилось сердце. Зевнул коня, на ровном месте. Опорозен.

— Ты что, Саид, в школе не учился? Нельзя же так фигуры представлять, — продолжал Шахбан.

Саид вскочил, опрокинув стул, и молча вышел из павильона. Шахбан явно слышал все, что было в партии с мальчиком. И надо же было отдать именно коня! Позор. Позор. Он увидел на скамейке под обрезанным платаном плачущего мальчика с отцом. Какие нежные дети пошли, до сих пор плачет. Ему стало не по себе. Нужно было что-то сказать, успокоить мальчишку. Отдать ватрушку? Саид замедлился у скамейки, поймал напряженный взгляд мужчины и, смущившись, прошел мимо.

По пути домой Саид твердо решил взять реванш. Он даже извлек из-под старого шкафа потрепанные папки с бумагами, чтобы найти запись партии, которую он выиграл у Шахбана в конце восьмидесятых. Из самой толстой папки, туго обвязанной бечевкой, на него во рвом посыпалась воспоминания, дневники, письма, которые он

писал жене, подробные планы путешествий, в которые они так и не съездили до ее смерти. Покрытая пятнами сырости потемневшая бумага обжигала ему пальцы, он отбросил папку в сторону и заплакал. Успокоившись, он отыскал нужную папку, в которой хранились все его грамоты за игру в городских и районных соревнованиях и аккуратная стопка бланков с партиями. Просмотр игры с Шахбаном только расстроил его, она не содержала ничего полезного: Шахбан просмотрел двойной удар и на восьмом ходу расстался с ферзем.

Сайд убрал бланк в сторону и начал воспроизводить по памяти сегодняшнюю игру. С каждым новым просмотром он находил все более впечатляющие способы победы, которую он упустил, и скручивался, испытывая при этом странное удовольствие — он все-таки мог бы, если бы не невнимательность, если бы Шахбан не шумел, если бы он не забыл пообедать. При мысли об обеде у него заурчало в животе, он поднял голову от доски и увидел, что рассвет уже пробрался в его квартирку и наискосок разрезает стены и верхушку желтевшего холодильника. Ватрушка! Сайд схватил куртку, но нашел только размазанный по всей внутренней поверхности кармана липкий творог и полиэтиленовый пакетик. Он вспомнил, что подложил куртку под себя, когда садился играть с Шахбаном, будь он проклят! Сайд вытряхнул пакетик на пол, надел куртку и вышел из дома.

Утро выдалось пасмурным и сырым. Тротуары блестели от дождя, прошедшего совсем недавно, в небе лохмотьями висели остатки туч. У Сайда кружилась голова, но он шел дальше, погруженный в мысли о предстоящем реванше, и не обращал на это внимания, пока не почувствовал, как внутри у него будто лопнул какой-то пузырь. Игла боли предупреждающе ткнула в переносицу, и он сел на влажный бордюр, снял давившую на голову кепку и зажмурился. Перед глазами плясали разноцветные искры, он заставил их выстроиться в линии и подсвечивал ими ходы в воображаемой партии. У ног звякнул металл. Какой-то прохожий принял его за бездомного и бросил в кепку горсть монет. Да, Сайд, позорься дальше, позорься. Он утратил ощущение времени. Сколько прошло? Час? Три часа? Кепка заметно потяжелела, среди мелочи лежало несколько купюр. Внезапная вспышка ярости придала ему сил, и он вскочил, вытряхивая из кепки все содержимое. Голуби, мирно клевавшие крошки хлеба на асфальте, испуганно брызнули к деревьям и закурлыкали. Ярость улеглась и уступила место восторженной легкости.

Сайд шел стремительной пружинистой походкой. Мысль его вновь возвращалась к реваншу, но теперь он был уверен в победе, ключом к которой была гармония. Ему казалось, что он понял нечто очень важное, и он радостно улыбался прохожим и желал им доброго утра. Справа от него спешил куда-то тучный мужчина с кожаным

кейсом, он шел по диагонали, переступая через две плитки за раз, и Саиду внезапно захотелось остановить его и объяснить, что ладьи ходят по горизонтали и вертикали и что мужчина все делает неправильно. Он открыл было рот, и тут же почувствовал, как слишком резким шагом из него выбило воздух: он начал задыхаться и схватился за дерево. Вздор, он не способен обыграть Шахбана, никогда не был способен!

Его расстраивало, как неровно падали лучи солнца, как неуклюже кошка спрыгнула с дерева, отчаянно цепляясь за терпкий мокрый ствол. Город издевательски трясясь и кружился перед глазами, и Саид сам не заметил, как оказался перед шахматным павильоном.

Когда он вошел, взъерошенный, с потемневшим лицом, искривленным улыбкой, все игравшие разом замолкли. Саид беспрепятственно прошел к столику, за которым сидел Шахбан, и сел напротив.

— Реванш, — сказал он и показал на доску.

— Шахбан, ради Аллаха, — испуганно прошептал старый Гасан.

Шахбан махнул на него рукой, кивнул Саиду и двинул на две клетки ферзевую пешку.

«Теперь ты не улыбаешься, — подумалось Саиду. — Чувствуешь, что напротив тебя серьезный соперник». Ему казалось, что фигуры поют в его руках, и он выстраивал их на доске так, чтобы мелодия лилась не переставая. Он вел партию, двигаясь как дирижер, и с удовлетворением отмечал, что Шахбан потрясен, что потрясены все зрители. Он услышал, что кто-то вызывает скорую и пожалел беднягу, который не сможет увидеть его шедевр из-за плохого самочувствия. Руки внезапно стали слишком легкими, Саид не мог сдвинуть ими фигуры и стал двигать их силой мысли, и когда поток его сознания подхватил ферзя, чтобы сделать решающий ход, он вдруг почувствовал, как в голове лопнул еще один пузырь — и Саид упал лицом на стол.

Первое, что он увидел, когда открыл глаза, были встревоженные лица завсегдатаев павильона и смущенную улыбку Шахбана.

— Напугал ты нас, Саид, — сказал он.

— Кто победил?

Шахбан растерянно посмотрел вокруг. После секундной паузы зазвучал целый хор голосов:

— Абсолютно выиграно!

— У тебя позиция была намного лучше!

— Играли как лев!

Саид закрыл глаза и улыбнулся:

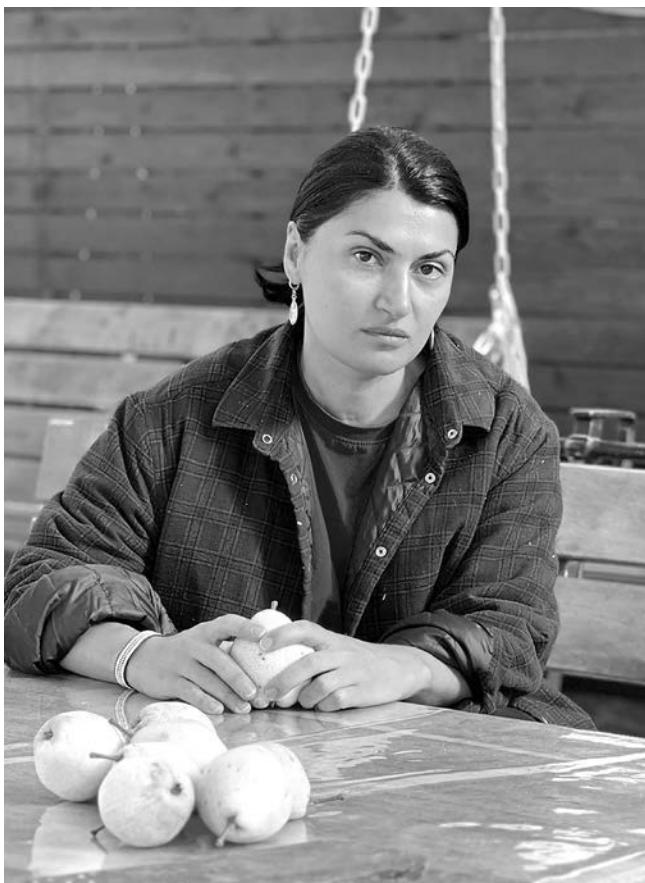
— Ладно, ладно, не шумите, я что-то сильно устал.

— Гасан, отвези его домой, — попросил Шахбан и, приблизившись к Саиду вплотную, вложил ему в руку пакет с ватрушками. — Ты их, кажется, очень любишь. Мой тебе совет: начинай кусать с середины.

Мария МУССОВА

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ РОМАН

РАССКАЗ



Уже не дикий и не злобный в этой части республики, Терек нес свои воды через окраину города мимо здания городской больницы скорой помощи. Окна ординаторской выходили на задний двор, за которым был небольшой пустырь и за ним берег. Так что, когда под вечер отделение затихало, можно было услышать, как равномерно гудит река.

Магомед и Георгий, всего месяц как окончившие мединститут, чисились врачами-интернами в отделении хирургии.

Оба были дигорцы, высокого роста, и выбрали для интернатуры хирургию, и на этом их сходство заканчивалось. Магомед, смуглый и темноволосый, подвижный и жилистый, обожал быть в центре внимания. А Георгий, белокожий, чуть полноватый шатен, предпочитал вести себя сдержанно и не говорить лишнего.

Шел последний месяц лета. Дежурства в больнице, где с них пока особо никто ничего не требовал, чередовались с вылазками в горы шумной компанией и походами на свидания с разной степенью успешности.

У более разговорчивого и уверенного в себе Магомеда уже была постоянная дама сердца, а у тихого Георгия дело редко заходило дальше второго свидания. Он не умел (или не хотел) производить впечатление на девушку красноречием, а на эффектные ухаживания попросту не было денег.

Денег не было и в этот вечер, так что оба добровольно остались дежурить в больнице в надежде, что кого-нибудь привезут хотя бы с аппендицитом, а если повезет, то и с ущемлением грыжи, и старший ординатор даст подержать крючок или зашить кожу.

А пока они сидели в ординаторской с пачкой историй и, изредка перекидываясь репликами, заполняли дневники. За окном равномерно гудел Терек.

— И вот мне показалось, что отец Фати на меня как-то косо посмотрел, — жаловался Магомед.

— Ну посмотрел и посмотрел, может, настроение у него плохое было, — не поднимая глаз от истории, ответил Георгий.

— С тобой-то он всегда нормально здоровается. Это потому, что я чиколинский.

— Я в чем виноват? Я его пару раз встретил в городе, поздоровался как положено.

— Может, сделаешь вид, что за Фатиной сестрой ухаживаешь? Против тебя-то он точно возражать не станет. И мне проще будет! — с энтузиазмом предложил Магомед.

— Оставь меня! — отмахнулся Георгий.

В дверях ординаторской возникла медсестра.

— Уәэртә дууә биццеүи¹, там в приемном пациенту привезли — кажется, к Алихану. Пошли бы посмотрели, пока он не спустился.

— Сходи ты. Ты же с ним на операции ходишь. Опять какого-нибудь бедолагу без ноги оставите, — бросил Магомед, слегка обиженно.

Георгия не нужно было уговаривать. Он уже выбрал для себя будущую специальность — сосудистую хирургию. А Алихан был единственный в республике специалист, к тому же охотно делившийся своим опытом, так что Георгий ходил за ним и его пациентами как приклеенный.

Он встал и устремился в приемник. И тут же встретил в коридоре Алихана.

— Вот ты где! Пойдем, будем смотреть пациентку в кабинете наверху. Дочка какого-то чиновника с Кабарды. Травматологи говорят, по нашей части.

— В смысле, что там за персонажи, что в приемнике никак?

— Ну, люди солидные. Попросили за них. А внизу суэта вечно. Лучше без лишних глаз, — пожал плечами Алихан, и они пошли наверх в его кабинет.

Там Георгий увидел встревоженную женщину лет сорока и сидящую на кушетке девушку. Алихан попросил девушку лечь и перевернуться на живот и начал осматривать ее правую ногу, попутно ведя диалог с матерью. Георгий внимательно слушал их разговор, стараясь не упустить ни одной детали, и следил за руками Алихана, подмечая про себя, как именно он проверяет пульс на стопе.

— Примерно ясно, но давайте пока сдадим анализы, и уже точно будет понятно, надо оперировать или нет. Мой ассистент проводит и покажет где, — закончив осмотр, сказал Алихан матери девушки и сел писать назначения.

¹ Эй вы, двое. (Здесь и далее перевод с дигорского. — Прим. ред.)

Георгию не нужно было ничего объяснять, он молча взял со стола листки и жестом пригласил девушку проследовать за ним. Ее мать осталась уточнять у Алихана детали.

Разглядел он ее только теперь. Среднего роста, загорелая, с короткими темными волосами, в растянутых домашних шортах, она опиралась на трость, какими обычно пользуются пожилые, и выглядела растерянной. Щеки горели характерным для высокой температуры нездоровым румянцем.

— Пойдемте, — бросил он ей и в своем привычном быстром темпе пошел в сторону лестницы.

Примерно через минуту он обнаружил, что за ним никто не следует, и, чертыхнувшись, развернулся. Девушка, явно недовольная, стояла посреди коридора, крепко сжимая трость и явно не понимая, куда ей идти.

Он быстро подошел к ней и жестом предложил опереться на его руку. Она молча покачала головой. Уже медленным шагом он проводил ее сначала до процедурного кабинета, где брали кровь. Потом на первый этаж, где надо было сдать анализ мочи. Там он вручил ей банку из-под физраствора и, прикинув в голове, что туалет в приемнике скорее всего в ужасном состоянии, показал на дверь предбанника, где санитарки обычно мыли инвентарь, но хотя бы было чисто. Через пару минут она оттуда вышла и молча протянула ему пустую банку.

— Не получилось? — Георгий забрал банку и только сейчас обратил внимание, что у больной очень выразительные, почти черные глаза, которые смотрели на него зло и раздраженно.

Она резко вдохнула, будто собиралась что-то выкрикнуть, но лишь язвительно прошипела:

— Удивительно, да?

Анализы крови в итоге пришли плохие, и Алихан назначил операцию на тот же вечер. Георгий знал, что он со дня на день собирался в отпуск, и его удивил тот факт, что он вообще согласился ее взять. Видимо, солидные люди нашли солидные аргументы.

Георгию не очень хотелось возиться с этой недовольной, но деваться было уже некуда. Тем более операция предстояла небезынтересная, пациентка была молодая, являя собой яркий контраст их обычному пожилому контингенту, так что он решил просто не обращать внимание на ее недовольство и «особый» статус.

Перепоручив ее медсестре, он пошел в ординаторскую писать предоперационный эпикриз.

«Машукова Марина Мусабиевна, 21 год», — вывел он на листке и начал аккуратно заполнять данные осмотра и анализов.

Появился Магомед.

— Видел, что за шишки на мерсе приехали? И машину им на территорию разрешили загнать! И Алихан какой говорчивый сразу стал.

— Да, видел. Уәлдай мин әй². Больная и больная. Через час берем на операцию. Пойдешь ассистировать?

— А что там?

— Какая-то гематома сложная под коленом, с нагноением скорее всего. У нее уже тридцать девять и девять. Как бы в сепсис не перешло. Будем открывать, смотреть, дренировать, там видно будет.

— А пациентка как тебе? Говорят, министра какого-то дочка.

— Да никак. Я ей объясняю, в смысле, мочу сдать надо, а она на меня как на дебила посмотрела. Пришлось медсестру уговаривать, чтобы просто нарисовала результат.

— Да не! Симпатичная хоть?

— Оставь меня, я на это смотрел, что ли?

Операционная. Белый кафель на стенах и на полу. Белые застянутые простыни. Это был отдельный мир, где Георгий чувствовал себя на своем месте. Тут все было понятно. Вот проблема, вот инструменты, вот его руки, которые сейчас помогут эту проблему исправить. А рано или поздно будут уже не помогать, а дирижировать процессом. Накрытый простынями пациент будто бы размывался, врач оставался один на один с болезнью. И только в его силах было ее победить. Этот момент, когда операция удавалась, когда результат был виден мгновенно, особенно завораживал Георгия, и он был готов дневать и ночевать в операционной ради того, чтобы когда-то самому занять главное место у стола.

Они пришли рановато. Анестезиолог еще не подошел, и в операционной были только пара медсестер, готовивших инструменты, и пациентка, сидевшая на столе. Ее еще не успели уложить и накрыть, так что она сидела в чем мать родила, держась за края узкого операционного стола, вжав голову в плечи и безуспешно стараясь сдержать дрожь от озноба. Загорелое тело ярким пятном выделялось в холодной белизне операционной. Зрелище было завораживающее, и оба молодых человека замерли у входной двери, забыв, зачем они вообще пришли.

— Смотри, а она ничего так, — шепотом сказал Магомед.

— М-м-м... — Георгий не знал, что ответить.

Они так и стояли, скрестив руки и делая вид, что наблюдают за приготовлениями, пока операционная сестра, спохватившись, не накинула на пациентку белую простыню и не прикрикнула на них.

² Мне все равно.

— Чего уставились? Идите уже, намывайтесь!

— Слушай, это все, конечно, интересно, но там на шефа перитонит везут. Я туда пойду, — сказал Магомед и выскользнул из операционной.

Георгий, больше для вида, пробормотал медсестре, что анестезиолог уже идет, и пошел готовиться к операции.

Свет лампы. Квадрат смуглой кожи десять на десять сантиметров в рамке белой ткани. Алихан уверенно сделал большой Z-образный разрез, и Георгий уже знал, что шрам останется на всю жизнь. Под острой сталью кожа и клетчатка разошлись и сразу начали кровоточить. Георгий едва успевал отодвигать ткани и указывать кончиком пинцета на мелкие сосуды, которые Алихан сразу прижигал коагулятором. Короткие пальцы Алихана стали необыкновенно ловкими и гибкими и по миллиметру рассекали мышцы слой за слоем, искусно обходя крупные сосуды и нервы. Лоб Георгия покрылся испариной. Он напряженно смотрел на операционное поле, не пропуская ни одного движения.

Пациентка не спала, так как находилась под спинальной анестезией. Медсестра гладила ее по голове, тихо говорила что-то успокаивающее, и Георгий слышал, как та слабыми голосом попросила почесать ей нос. Медсестра в ответ рассмеялась, но просьбу выполнила.

Управились быстро. Алихан начал накладывать шов за швом. Задача Георгия была, не отставая, вязать узлы. Очень не кстати в голове возникли сначала ее глаза, смотревшие пронзительно. Потом обнаженная фигура в белом сиянии. Этого хватило, чтобы между мозгом и руками случился рассинхрон, и он порвал нитку. Алихан фыркнул и перешел. Но руки уже начали дрожать, и Георгий порвал и вторую нитку.

— Так! Дома берешь нитки и вяжешь узлы! Тренируешься! Еще этого мне не хватало! — ругался Алихан.

Георгия всегда задевали замечания. Обида поднялась откуда-то из области эпигастрия вперемешку со стыдом. Но было еще обиднее оттого, что ОНА это слышит. Мысли спутались, но разбираться в них было некогда. Постановка дренажных трубок требовала полной сосредоточенности.

Георгий мог не переживать — Марина не слышала ничего. Минут через двадцать после начала операции анестезиолог ввел в венозный катетер промедол, и препарат уволок ее в сон, наполненный смутными голосами и беспокойными видениями.

Очнулась она уже в палате. Сознание зафиксировало сначала обеспокоенное лицо матери, потом две капельницы — одна

торчала из руки, вторая из оперированной ноги. Третьим объектом оказалась крупная мужская фигура: Георгий молча стоял у второй капельницы и наблюдал за тем, что вытекает из дренажной трубы.

Потом он тихо говорил с ее матерью, в палату заходили и выходили какие-то люди. Приходил Алихан и что-то спрашивал, но ее снова затянуло в сон.

— Не волнуйтесь, это состояние спутанного сознания пройдет через час-полтора, — сказал Георгий матери и, собираясь выходить, напоследок бросил взгляд на лицо Марины. Наконец-то оно было расслабленное и вдруг показалось ему необыкновенно красивым.

Алихан позвал его в свой кабинет.

— Слушай, у меня поезд уже завтра. Не ехать не могу. Они люди благодарные. Оставляю тебе. Лечи. Что делать, ты и без меня хорошо знаешь.

Он положил на стол купюру в сто долларов и подвинул ее Георгию.

— Нет, не возьму, — неожиданно для самого себя ответил Георгий и отодвинул купюру обратно. — Можете не переживать. Все сделаю как надо.

Он вернулся в пустую ординаторскую и сел писать протокол операции. Терек за окном убаюкивающе гудел.

Утро нового дня началось с пятиминутки. Первыми докладывали ответственные хирурги. Доклад сопровождался почти торжественным выносом стального лотка с тремя удаленными за ночь аппендицами.

— Вы зачем их выносите? — спросил Георгий Магомеда.

— Профессор мнительный. Чтоб не думал, что мы их без показаний удаляем.

— Это что, в следующий раз гангренозную ногу тащить, что ли? И с последней операции у нас никакого материала, — волновался Георгий, которому впервые предстояло докладывать вместо Алихана.

«Пациентка Машукова, поступила с острой болью в правой нижней конечности, экстренно прооперирована, состояние стабильное, лейкоцитоз, температура тридцать семь и пять», — проговаривал про себя Георгий раз за разом. Очень хотелось звучать убедительно.

Коммерческие двухместные палаты располагались в конце отделения. Их было всего две, и на удобство они могли претендовать лишь условно. Вместо умиротворяющего гула Терека в их окна врывался обычный городской шум, приправленный сиренами скорой помощи, заезжавшими в больницу как раз с этой стороны.

Соседкой Марины и ее матери, которая осталась за ней ухаживать, оказалась бабушка Таужан, после обширной операции на кишечнике. Таужан вслух активно готовилась к тому, чтобы если не сегодня, так завтра покинуть этот мир. К тому же рядом с ней постоянно дежурили как минимум два родственника, так что атмосфера в палате была своеобразная.

Проснувшись утром, Марина пришла в уныние от такой обстановки.

С самого утра дочка и внук бабушки Таужан горячо обсуждали поиски муллы. Никогда не ходившая ни в церковь, ни в мечеть, но выросшая в мусульманском селе, Таужан решила, что ей надо непременно с ним поговорить перед смертью. А дочь и внук пытались ее убедить, что исповедоваться еще рано, операция прошла хорошо, что вот выпишут ее домой и тогда они приведут кого угодно.

Но стоило на пороге палаты появиться Георгию, как весь шум тут же стих. Если Георгий и чувствовал себя неуверенно в своей относительно новой роли лечащего врача, то никто этого не заметил.

— Доброе утро! Как прошла ночь? Как самочувствие? — спросил он, обращаясь одновременно и к Марине, и к ее матери.

— Все вроде нормально, спасибо! Один раз сменили капельницу, — улыбнувшись, ответила мать.

— Прошу прощения, не представился вчера — Георгий Сосланович. Буду вашим лечащим врачом. Алихан Маирбекович оставил мне все инструкции, мы с ним на связи, можете не переживать.

— Мы и не переживаем! Зарета. Очень приятно.

Марина лишь кинула на него хмурый взгляд и промолчала. Бабушка Таужан, ее дочь и внук очень внимательно на него смотрели, и ему стало не по себе. Он почувствовал себя как на экзамене.

Георгий осмотрел дренажи, повязку, проверил пульс на стопе. Пальцы чуть дрожали, и он надеялся, что никто этого не заметит.

— Пока вставать нельзя, я чуть позже зайду и сделаю перевязку, — сказал он, стараясь звучать как можно более авторитетно, и вылетел из палаты.

— Какой красивый мальчик! — неожиданно сказала бабушка Таужан.

— Да, симпатичный и серьезный такой, — добавила ее дочь.

— У осетин вообще мужчины статные, — тут же включилась в разговор Зарета. И между женщинами легко завязалась типичная больничная беседа.

Выяснилось, что бабушка Таужан, которой пару дней назад из-за онкологии удалили часть кишечника, была матерью четырех детей, каждый из которых был неплохо устроен, чем она очень

гордилась. После ранней смерти горячо любимого мужа она воспитывала их в одиночку и всем смогла дать образование. Несмотря на преклонный возраст и тяжелое состояние, в ней угадывалась былая красота.

Зарета рассказала, как Марина срочно прилетела из Москвы, где она учится, как отец выносил ее из самолета на руках, как в Нальчике не смогли поставить диагноз и им посоветовали ехать в Осетию.

Бабушка Таужан и ее дочь удивлялись обстоятельствам, приведшим кабардинцев в скромную городскую больницу. Они бы еще долго делали комплименты и Кабарде, и ее жителям, дорогам и помидорам, но разговор прервался из-за появления лечащего врача, которая пришла делать бабушке Таужан плановую перевязку.

— Мам, в каком месте он «мальчик» и симпатичный? Я думала, это взрослый мужик. Выглядит на все сорок, — сказала Марина матери, воспользовавшись паузой в светском разговоре.

— Да что ты? Не заметила, что ли? Он очень молодой! Высокий и крупный просто. Лицо открытое, черты лица правильные, и руки хорошие — по форме пальцев понятно, — ответила ей Зарета.

— Мам, ну при чем тут форма пальцев!

— Я в судебной экспертизе пять лет проработала, можешь поверить, я знаю, о чем говорю. Да и видно же, молодой совсем... Я пойду посмотрю, что тут в магазинах, поесть принесу.

Зарета ушла. Бабушка Таужан, утомленная и разговором, и перевязкой, задремала. Ее дочь углубилась в чтение газеты. Палата затихла.

Минут через тридцать Георгий вернулся с перевязочным материалом. Марина, очень внимательно его рассмотрев, убедилась — он на самом деле молод.

— Можно вопрос? Сколько вам лет? — спросила она его, пока он с большой осторожностью менял ей повязку на ноге.

— А что? Думаете, я слишком молод для врача? — Он не отрывал взгляд от повязки.

— Наоборот. Думала, вам лет сорок. Не обижайтесь. Я себя чувствую неважно последние сутки.

— Мне двадцать три. Молодой. И, как говорят, перспективный, — ответил он, и уши его слегка порозовели.

— Перспективный? Вы, как и все осетины, видимо, еще и очень скромный, — рассмеялась она.

Ее смех удариł в солнечное сплетение, и кровь прилила к лицу, а начавшая интенсивно пульсировать сонная артерия гулко отдавала во внутреннее ухо. Пришлось собрать все силы, чтобы взять себя в руки и завершить перевязку.

К моменту, когда он закончил свои манипуляции, диагноз был очевиден.

Он молча вышел из палаты. Поскольку других пациентов у него не было, можно было идти домой. В ординаторской он встретил Магомеда, и они вместе пошли на остановку.

— Ты вечером что делаешь? Не хочешь в кино? Там фильм классный вышел, «Троя», — спросил его Магомед.

— Дома посижу, узлы вязать буду. Вчера Алихан наехал на меня во время операции, что я две нитки порвал. Да и настроения что-то нет.

— Он в отпуске. Успеешь еще. Давай на «Тереке» в семь. Может, еще кто подтянется из ребят.

— Ладно, — ответил Георгий. Подъезжала его маршрутка, и спорить времени не было.

Дома было пусто. На столе стояла тарелка хинкали, накрытая стальной миской, чтобы не остывли. Георгий заставил себя проглотить пару штук, но потом его начало подташнивать. Он заварил себе чай и включил телевизор. На экране крутился клип, где три сексапильные девушки в коротких халатиках с волнительным декольте, блондинка, рыжая и брюнетка, пели что-то про биологию и анатомию. Георгию нравилась брюнетка.

Вечером он все же заставил себя выйти в кино. Голова неприятно гудела после короткого дневного сна. Мысли никак не выстраивались в ряд. Он думал сначала о вчерашней операции, потом о том, надежно ли держатся дренажи на ноге Марины, и о том, что ерунда это все. Он врач, она пациентка, и он забудет о ней, как только вручит выписку.

Магомед уже ждал его около кинотеатра, причем не один. Рядом с ним стояла нарядная девушка с эффектными каштановыми кудрями. Между собой они так называли «краля». Георгий знал, что Магомед уже давно встречается со своей однокурсницей Фатимой, и вопросительно посмотрел на него.

— Салам, брат! Знакомься, это Тамуна! Моя соседка, учится, кстати, у нас, на стомате.

Ситуация была максимально неловкая. Тамуна лукезарно улыбалась Георгию. Магомед и раньше делал попытки пристроить его, но обычно ничем хорошим это не заканчивалось. Ни одной из девушек так и не удалось встать хотя бы на одну ступеньку с его главной любовью — медициной.

— Очень приятно, — ответил он ей, кидая в сторону Магомеда многозначительные взгляды, и, вежливо улыбнувшись Тамуне, извинился и оттащил его за локоть в сторонку.

— Йе ба дин читæ 'нцæ?³ На что ты меня опять подписываешь?

— Мæстгун ма кæна!⁴ Она меня месяц уже бомбит, чтобы тебя с ней познакомил. Сказал бы заранее — ты бы не пришел. Увидела тебя в столовой, запала, видимо.

Деваться было некуда. Магомед под благовидным предлогом слился, и Георгий остался с Тамуной один на один.

— Знаешь, я после дежурства на фильме могу и уснуть. Давай лучше прогуляемся, — предложил он ей.

— Как скажешь, — ответила девушка.

— Ну, рассказывай...

Они медленно шли по улице, и Георгий не мог не заметить, как много взглядов собирает его спутница. Тамуна и правда была хороша. Высокий рост, копна каштановых кудрей, греческий профиль и выгодно обтянутый белой футболкой четвертый размер. Она рассказывала ему, как увидела его где-то в стекляшке института, как он приходил к Магомеду. Как ей всю жизнь нравился именно такой типаж и что вот именно он, Георгий, мужчина ее мечты. «Мужчина мечты» тем временем от такой прямоты окончательно растерялся. Ему казалось, он смотрит какой-то дурной сон со своим участием.

Они потихоньку дошли до ее дома, и весь путь Георгий пытался объяснить, что у него сейчас другие приоритеты и не то положение, чтобы позволить себе отношения. Но Тамуну не смущал ни его статус, ни скромные возможности.

У ворот наступил момент истины. Она предприняла последнюю, почти отчаянную попытку штурма и предложила зайти. Соблазн был велик. Возможно, еще вчера он согласился бы. Но сегодня ему не давали покоя дренажи, которые во время утренней перевязки могли сместиться и которые хорошо было бы проверить.

— Извини, не судьба. Мне на работу надо, там тяжелый пациент. Не могу, — ответил он ей.

— Может, завтра? — Глаза Тамуны увлажнились.

— И завтра тоже нет. Извини, правда, я не твой герой.

Тамуна порылась в сумочке и вытащила коробочку с духами.

— Возьми, это тебе. Магомед сказал, что у тебя день рождения был недавно.

— Не возьму, зачем? — Георгию казалось, что его обвивают липкой паутиной.

— Что уж там... Возьми! — Тамуна сунула коробку ему в руки и с мокрыми глазами скрылась за калиткой общего двора.

³ Это что еще такое?

⁴ Не злись!

Георгий еще минуты три стоял на улице с этими духами, чувствуя себя полным негодяем. Но потом сунул их в карман и пошел пешком в сторону больницы.

В коридорах отделения хирургии уже погасили свет. Было почти десять вечера, поэтому заходить в палату он не стал и, переодевшись, сразу пошел в операционную приемника, где всегда были нужны руки. Там было интересно и понятно, и он чувствовал себя нужным и полезным.

Проведя полночи в операционной с травматологами, Георгий устроился ночевать на кушетке в кабинете Алихана. Адреналин еще циркулировал в крови, и даже умиротворяющий гул Терека не мог помочь уснуть. До рассвета оставалась пара часов. Про Тамуну он уже забыл. Все мысли были этажом ниже. Марину с утра предстояло поднять, довести до перевязочного кабинета, поменять повязки и, возможно, убрать дренажи. Он очень старался думать только о том, что оказывает ей медицинскую помощь, но темные глаза запали в ту область мозга, где рациональные доводы не работали.

Несмотря на свой возраст, в практической медицине он был уже четыре года. Начав с работы санитаром в психиатрической бригаде скорой помощи, он дошел до должности фельдшера реанимационной бригады и перспективным называл себя небезосновательно. К этому времени он успел выработать манеру общения с больными, четко соблюдал субординацию и никогда не позволял личному смешиваться с профессиональным. До вчерашнего дня.

Объект его мыслей тем временем тоже не спал. Было очень жарко и очень неудобно. О том, чтобы оставить ее в больнице одну, не было и речи. Зарете, ее матери, приходилось спать то на стуле, приставив к нему пару табуреток, то на краешке Марининой кровати. К тому же бабушка Таужан постоянно хрюпала и стонала во сне. В открытое окно врывался яркий свет городских фонарей и отблески мигалок скорых.

Но больше всего Марину напрягало то, что она находилась где-то за пределами своего привычного мира. Некому было ее навестить, некому оказать желанное внимание. Это было по ее самолюбию и портило настроение едва ли не больше, чем сама болезнь и операция. Но хотя бы лечащий врач оказался молодой. И чтобы внести разнообразие в унылые больничные будни, она решила присмотреться к нему чуть внимательнее на предмет ни к чему не обязывающего флирта.

От сна на жесткой кушетке у Георгия затекла шея. Он встал, подошел к маленькой раковине в углу кабинета и плеснул в лицо

холодную воду. Посмотрел на себя в зеркало. Вид был так себе, но голова наконец-то была ясная. Надо было просто сделать перевязку и пойти домой.

После пятиминутки Георгий уверенным шагом пошел в палату. Солнце лупило в окна, придавая неказистому помещению нарядный вид. Бабушка Таужан о чем-то тихо перешептывалась со своей дочерью. Зареты в палате не было. Марина спала, а две капельницы исправно вливали в руку и ногу назначенные препараты.

Почему-то ему показалось неуместным ее будить, хотя обычно с пациентами он не церемонился. Он сначала для вида покрутил колесико одной капельницы, потом проверил другую. Постоял пару минут, надеясь, что Марина проснется сама. Потом просто присел рядом на одну из табуреток и долго смотрел то на Марину, то на капающий раствор. Она не просыпалась. Так и не сочтя нужным ее разбудить, Георгий, прикинув время, оставшееся до окончания препаратов, ушел в ординаторскую.

От сна на продавленной кровати у Марины затекла шея. Она с трудом открыла глаза, и слепящий белый свет быстро вернул ее в больничную реальность.

— Мама твоя в город вышла. Скоро вернется. И доктор твой приходил, — сообщила ей дочь бабушки Таужан.

— Да? Что-нибудь говорил?

— Такой хороший мальчик. А как смотрел на тебя, — подхватила бабушка Таужан.

— Ничего не сказал. Вот зашел, сел рядом и сидел молча, как будто нас здесь и нет. Долго сидел. Мы аж растерялись.

Солнце накалило палату. Было душно. Порывы ветра заносили в окно только пыльный и горячий воздух с улицы. Зачем этот врач приходил? Зачем сидел и смотрел? Что он вообще за человек? Что она здесь делает? Как отсюда выбраться? Мысли в голове Марины были тягучие, как сгущенка. Так и не ответив себе ни на один из этих вопросов, она снова провалилась в сон, полный посторонних голосов, которые что-то тихо говорили на непонятном языке. Но потом откуда-то ворвался резкий, как звук циркулярной пилы, женский голос и выдернул Марину в реальность.

— Просыпайся, красавица! Сейчас уберу капельницу и пойдем на перевязку!

В больничном коридоре, куда солнечный свет не проникал, было чуть прохладнее. Георгий стоял около двери перевязочной и смотрел, как медленно, подволакивая не гнущуюся в колене ногу, Марина в сопровождении медсестры идет в его сторону. К нему подошел Магомед.

— Салам, биццеу!⁵ Как вчера все прошло?

— Давай без этого! Еле отдался.

— Как так?!

— Да вот так. Духи в ординаторской лежат. Дарю!

Магомед проследил за взглядом Георгия и широко улыбнулся.

— А-а-а, брат, я, кажется, понял...

— Дзæгъæлдзурд ма кæна⁶. — Георгий толкнул Магомеда в бок и открыл дверь перевязочной.

Медсестра завела Марину и усадила на кушетку. Они зашли следом. Георгий начал мыть руки, а Магомед занял наблюдательную позицию у окна.

— Посмотри, наши лучшие парни тут, а ты недовольная такая, — сказала медсестра Марине и начала готовить материал для перевязки.

— Я не недовольная, ходить просто больно. Очень!

— Да ладно тебе! Что там такого наш Георгий Сосланович сделал? Не такая вроде большая операция была, — бодро включился в разговор Магомед.

— Вы вообще кто? — Марина сверкнула в его сторону злым взглядом.

— В смысле кто? Я тоже врач. Помогаю вот, чтобы не оставлять друга наедине с капризными пациентами. Мало ли.

— Я вас вижу впервые в жизни, и вы уже успели навесить на меня какой-то ярлык.

— Я Магомед Казбекович, будущий уролог, между прочим. Слышали про операции по смене пола? Вот такие и буду делать!

— Экзотический выбор для кавказского мужчины, — скептически ответила ему Марина.

— Так, давай, не отвлекай, а? — Георгий к тому времени уже надел перчатки. — На живот надо лечь, будет немного неприятно, — обратился он уже к Марине, — но придется потерпеть, первая перевязка после операции всегда такая.

Марина послушно легла на кушетку, и Георгий с великой осторожностью начал срезать верхнюю часть бинта. Но как только дело дошло до прилегающей к разрезу части, Марине стало нестерпимо больно, о чем она незамедлительно дала знать.

— Ай!

— Уже больно?

— Да!

— А сейчас?

⁵ Привет, парень!

⁶ Не болтай.

— Очень! — У Марины из глаз полились слезы.

— Так, новокаин! — скомандовал Георгий медсестре.

— Не потерпит, что ли? Что-то я не видела, чтобы с другими ты так возился, — заворчала медсестра, но все же набрала препарат в шприц.

— Говорил же, капризная, — подхватил Магомед.

Георгий их не слушал. Ему нужно было сделать перевязку, а мысль о том, что он может причинить ей боль, была совершенно невыносима.

После обезболивающего укола дело пошло проще. Он очень осторожно удалил трубки, обработал рану и наложил свежую повязку, тщательно следя за тем, чтобы нигде не перетянуть. Когда Марина села на кушетку, он молча наклонился и надел ей на ноги шлепанцы. У Магомеда и медсестры брови многозначительно поползли вверх. Марина замерла в смущении. Было в этом простом жесте что-то такое, от чего внутри, почти против воли, разлилось тепло.

С этого момента Марине было показано ходить как можно больше, разрабатывая ногу, которая после операции толком не сгибалась. Чистой сменной одежды под рукой не было, и Зарета взяла ей то, что нашлось в ближайшем магазине, — короткие желтые шорты в мелкую розочку и такого же легкомысленного вида футболку. Пижама очень подчеркивала фигуру. Марина, которой приходилось ходить по больничным коридорам через мужскую часть отделения, внутренне съеживалась под одобрительными взглядами пациентов.

Наступил один из тех летних вечеров, когда закат окрашивает все в медовые оттенки, внося мягкость даже в больничный интерьер. Выходить из палаты Марине не хотелось. С другой стороны, лежать и слушать исповеди бабушки Таужан и разговоры ее родных становилось невыносимо. А из коридора можно было хотя бы спокойно звонить и отвечать своему молодому человеку, которого родители крайне не одобряли.

За таким разговором Георгий и застал ее на лестничной клетке возле палаты. Он шел вроде как убедиться, что повязка сухая, и после попрощаться и пойти домой. Она его не видела, поглощенная разговором. Стройная, в облегающих желтых шортах, она эмоционально и с упреком говорила что-то в свою красную раскладушку.

Марина захлопнула трубку и наконец заметила присутствие Георгия.

— Добрый вечер! Все хорошо? — спросил Георгий.

— Надо же, вы еще здесь?

— Ну да, операции, перевязки...

— Странно, я думала, я у вас единственная. Вот видите, следую вашим рекомендациям, хожу. Иначе в таком виде я на люди не высовывалась бы, — улыбаясь, ответила Марина.

— Эм-м... По-моему, прекрасный вид!

Пульс у Георгия резко подскочил. Она явно с ним флиртовала, и к такой резкой перемене он оказался не готов. Надо было прощаться, разворачиваться и уходить. Но мягкий свет лился в окно и так красиво ложился на желтую ткань пижамы и смуглую кожу, что, прежде чем он успел сообразить, слова сами сорвались с языка:

— У нас из окна ординаторской тоже прекрасный вид. Там Терек... Могу показать.

— Терек? Тот самый, который дик и злобен? Никогда не видела. Ну покажите. — Марина самодовольно улыбнулась и пошла вслед за ним.

В ординаторской не было никого. Три окна были распахнуты, впуская через себя прохладный ветерок и гул реки. Марина присела на подоконник одного из них и старательно делала вид, что разглядывает пейзаж, который, откровенно говоря, ничего особенного из себя не представлял. Георгий расположился на другом краю подоконника и мучительно пытался сообразить, зачем он ее сюда привел, о чем говорить и что, собственно, делать дальше.

«Он довольно симпатичный. Чуть полноват, но это поправимо. Хирург. Это звучит эффектно. Осетин. Интересно, сильно ли они от наших отличаются? Высокий. В нормальной одежде должен выглядеть отлично. Обувь? Непонятно. Какие-то тапки невнятные. Еще и шнурок какой-то на шее. Христиане же! И телефон совсем простой. Но ничего страшного».

Анамнез был собран, вердикт вынесен, и в момент, когда пауза рисковала перерасти в неловкую, она обернулась и, пристально посмотрев ему в глаза, произнесла:

— Расскажите о себе. Я ничего про вас не знаю, кроме того, что вы молодой и перспективный хирург.

Георгий выдохнул и начал рассказывать, сам не понимая, почему речь его вдруг полилась так же легко и равномерно, как гул Терека за окном.

Медовый свет давно погас. Бархатная ночь опустилась на город. Георгий шел домой пешком, не чувствуя ни тяжести, ни усталости. Ничего особенного не произошло. Они проговорили у открытого окна целый час, пока не раздался звонок от Зареты и она не сказала Марине вернуться в палату. И все было хорошо, кроме того, что через пару дней ее нужно было выписать и суметь

навсегда забыть о ее существовании. Он даже решил про себя, что не будет больше искать встречи лишний раз, не будет просить номер телефона и вернется к своей роли лечащего врача.

То, что его намерение обречено на провал, стало очевидно уже на следующее утро. Его тянуло в больницу как магнитом. Перевязки. Как будто бы случайные встречи в коридоре. Разговоры, во время которых он ощущал себя интересным и значимым. И мутильное чувство, что время стремительно летит и он ничего не может с этим сделать.

Для Мариной дни тянулись невыносимо медленно. Она уже знала всю биографию бабушки Таужан, подробности семейной жизни ее дочерей и проблемы внуков. Молодой врач начинал занимать в голове чуть больше места, чем ей хотелось бы. Но перспективы были более чем туманны.

Ко дню выписки Алихан вернулся из отпуска и на последнюю перевязку пошел уже сам. Георгий стоял рядом с ним у кабинета в ожидании, пока медсестра приведет Марину, и сильно нервничал. Через пару минут они появились, но так как перевязочная оказалась не готова, они втроем остались стоять у дверей ждать.

— Ну что, как самочувствие? Как мой боец себя проявил? — Алихан окунул Марину оценивающим взглядом.

— Нога нормально не сгибается, но ваш «боец» вел себя хорошо и говорит, что жить я буду.

— Еще бы с такой красоткой он себя плохо вел, — ответил Алихан и неожиданно шлепнул Марину по ягодицам.

От такой фамильярности Марина растерялась и покраснела, но, прежде чем нашлась, что ответить, дверь перевязочной распахнулась, и они вошли внутрь. Пока Алихан снимал повязку и осматривал рану, Георгия тряслось от гнева и он едва слышал, что тот говорил.

— Что ж, молодец, рана чистая, не вижу никаких проблем, готовь выписку! — объявил он, щелкнув перчатками, и вышел из перевязочной.

Георгий и Марина вышли вслед за ним. Он все еще нервничал. Нужно было что-то сказать, но слова застревали между грудью и горлышком. Марина шла рядом, нарочито глядя прямо перед собой. Недалеко от ее палаты они остановились.

— Ну что? Получается, мы расстаемся?

— Получается, да...

— Ну я пойду тогда, маме скажу? Она будет рада, намучилась тут за эти дни.

— Намучилась, да...

Марина выжидающе посмотрела на него, словно давая последний шанс, но, не дождавшись, развернулась и пошла к своей палате. А Георгий так и остался стоять, не понимая, что ему делать дальше. Очнувшись через минуту, он пошагал в сторону ординаторской готовить выписку.

Там, к счастью, никого, кроме Магомеда, не было.

— Ты чего такой помятый?

— Да вот, выписываются сегодня...

— В смысле? Кто выписывается? А-а-а, твоя кабардинская княжна? И что за трагедия? Ты номер у нее взял?

— Нет, и не собираюсь. Где я и где она...

— В смысле не собираешься? Че ты как олень? Тебе в ординатуру скоро. Сам же говорил, что хочешь уехать отсюда.

— Говорил. Я в Питер собираюсь, а она в Москве. Да и на фиг я ей сдался?

— Гъæла дæ?⁷ Какая разница? Был Питер, станет Москва. Че ты паришься? Возьми номер и свой дай, скажи, на случай, если что беспокоить будет. Ты же врач. А там дальше разберешься, надо оно тебе или нет.

— А если не захочет?

— Хочешь, я у нее спрошу?

— Нууадзæ мæ⁸. Давай без тебя как-нибудь.

Через два часа он пошел с выпиской в сторону палаты и встретил Марину в коридоре, уже переодетую.

— Вот, я все написал. Три дня еще антибиотики и дней через десять можно снимать швы.

— Спасибо!

— За вами уже приехали?

— Да, папа машину прислал, уже ждет.

— И это... Может... Ну, может, мой номер запишешь? Мало ли.

— Да, конечно. Диктуй.

— А может... Может, я прозвон просто сделаю и...

— Я уж думала, ты мой номер так и не попросишь! — сказала она, широко улыбнувшись, и начала диктовать цифры.

С трудом попадая, почти на автомате, он нажимал кнопки на своей старенькой «Нокии». Сердце стучало так сильно, что он испугался — она услышит и все поймет.

Но она просто смотрела на него и думала, что ему совсем не идет этот зеленый цвет хирургического костюма. И, наверное, не

⁷ Ты дурак?

⁸ Оставь меня.

мешало бы скинуть пару кило. Вот если бы синий и обувь чуть получше, он был бы неотразим. Потом вдруг вспомнила, как он надел ей на ноги тапочки, и внешнее перестало иметь значение. Главное — номер он все-таки попросил.

Георгий и Магомед стояли на ступеньках приемника и, один с грустью, второй с любопытством, смотрели сверху, как Марина с матерью садятся в дорогую машину. Георгий думал, что, если она посмотрит на него сейчас, это будет знак. Но знак чего, он не знал. Но она не посмотрела. Водитель закрыл за ней дверь, и машина медленно выехала за больничные ворота.

— Ну что ты кислячишь, Ромео? Пойдем, там шеф холецистит берет, это тебе не с Алиханом ноги пилить, хоть отвлечешься, — пнул его в бок Магомед.

— Хорош, а? Пошли...

Прошло почти два месяца. Нагрузка росла, и учеба требовала от Георгия полной отдачи. Дни были заполнены операциями, историями болезни, пациентами и перевязками. Он чувствовал себя в этом всем великолепно и почти не вспоминал о ней. Но вот ночью, когда дежурство выдавалось спокойным, когда больничные коридоры затихали и он лежал в ординаторской, слушая гул Терека и собственный пульс, откуда-то появлялось навязчивое ожидание сообщения от нее. Он даже несколько раз начинал ей писать, но сомнения снова и снова заставляли его удалять эсэмэски, так их и не отправив.

В одну из таких ночей в середине ноября в отделение поступил Юра из Кадгарона. Ему было за сорок, и он был из категории «блатных», но уже на пенсии. В одной из перестрелок в середине 90-х ему повредили позвоночник, и с тех пор он сидел в инвалидном кресле. Несколько лет неподвижности привели к образованию болезненных пролежней, с чем он и поступил в хирургию.

Георгий быстро нашел с ним общий язык, поскольку сам рос в неблагополучном районе. Грубоватый юмор и понимание жизни «по понятиям», знакомые ему с детства, быстро стерли формальную дистанцию. Он делал ему перевязки, вывозил на улицу курить и часто разговаривал с ним, как говорил Юра, «за жизнь».

Несмотря на инвалидность, он сохранил остатки былого обаяния. И его жертвой немедленно стала палатная медсестра Зарина. За этой странной драмой, где еще молодая медсестра сгорала от любви к закоренелому уголовнику, а тот ее отталкивал, с любопытством следило все отделение хирургии. Она была готова принять его со всем его жизненным багажом, он же упорно отвергал

ее знаки внимания и не позволял даже делать себе уколы, требуя кого-нибудь другого.

В одно из дежурств Георгий заметил возле перевязочной заплаканную Зарину.

— Зәринә, чи дәбәл арцудәй?⁹ — спросил он тихо.

— Да Юр! Я помочь хочу, поддержать, но он будто боится меня. Не подпускает к себе близко. Я не понимаю, что не так делаю.

Георгий пожал плечами:

— Сама же знаешь, сложный человек.

Он пошел к нему в палату. Юра сидел на кровати, уставившись в стену.

— Что не так с Зариной? — спросил Георгий. — Она же старается. Юра вздохнул:

— Не хочу я. Я инвалид. Что я могу дать молодой женщине? Только проблемы. Найдет себе здорового. А ты-то сам что? Молодой! Я смотрю, девочек у вас тут хороших много...

Неожиданно для себя Георгий ответил:

— Была тут одна, пару месяцев назад. С Кабарды.

— И что?

— Да ничего. Вылечили, уехала.

— Ты звонил? Общаешься?

— Нет, не знаю, она в Москве учится, а я тут.

— Хъус-ма мәэм, ләеппу!¹⁰ Руки, ноги на месте! Голова вроде соображает! Остальное наживное, мне можешь поверить. Тебе надо уезжать отсюда. А что она там? Так стимул будет. Я по лицу твоему все вижу. Жалеть потом всю жизнь будешь. Звони.

Георгий вернулся в ordinаторскую и упал на диван. Было очень тихо, так что гул Терека доносился даже через закрытое окно. Не давая себе времени подумать, он взял телефон, набрал в СМС «Привет. Как дела?» и тут же сунул его обратно в карман. Лежать и ждать ответа не было никаких сил. Он встал и пошел в приемник. Где-то в темных переходах первого этажа из кармана раздался короткий перезвон.

«Привет! Я думала, ты про меня уже забыл».

⁹ Зарина, что случилось?

¹⁰ Слушай сюда, парень!

СТРАСТЬ К СОЗЕРЦАНИЮ

СТИХИ
ПЕРЕВОД П. ВИЗИРОВОЙ



Элизабет БИШОП

БОЛЬШОЙ ПЛОХОЙ ПЕЙЗАЖ

Bспоминая пролив Белл-Айл или
дальнюю лабрадорскую гавань,
еще не начав свой учительский стаж,
дедушка написал пейзаж.

Вонзаясь в спокойное пламя неба,
простираясь на мили вдаль,
нависают над морем скалы —
бледные, как хрусталь.

У их подножий рассыпаны арки,
их расплескал по бухте морской прибой,
за ними скрылись входы в пещеры
под безупречной волной.

В центре робкой глади воды
целый флот кораблей недвижим,
опустив паруса, устремились ввысь мачты,
точно сгоревшие спички.

Еще выше, над головами
полупрозрачных скал,
сотни крапинок — образ птиц,
их бесконечных стай.

Раздаются их стоны, стоны
на фоне глухой тишины,
и редко доносится рокот какого-то
зверя из глубины.

А в малиновом небе
красный маленький шар все никак не устанет
повторять в одной точке за кругом круг.
Вечно алом закате его свет не растает.

Охваченные им, застыли корабли.
Наверное, их путь уже окончен.
Лишь непонятно, что их привело сюда:
 страсть к созерцанию
или блеск сокровищ?

ЧУДЕСНО...

Чудесно проснуться вместе
Минута в минуту; чудесен звук
Внезапной дроби дождя по крыше
И то, как вдруг
Стал воздух чист, словно разрядом тока пронизан
От черных сплетений проводов.
По крыше дождя бьет упрямый рокот,
А ниже слышен лишь поцелуев шепот.

Гроза то взvoет, то снова стихнет;
Искристый воздух прогонит сон.
И если бы молния вдруг поразила дом,
То ток протянулся бы от фарфоровой люстры
По проводам, что кругом, прямиком до нас,
И мы в полуодреме представили бы,
Что дом, заточенный в клетку из искр,
Отнюдь не пугающ, а даже красив.

И если верить, что есть лишь ночь
И полусонная наша любовь, тогда
И то и другое может смениться в единый миг —
Нам об этом всегда напомнят те провода.

За мгновенье весь мир примет облик иной.
Так и мы не заметим ни грома раскат, ни ветра порыв,
Ни как поцелуи наши свой изменили ритм.

Кирси КУННАС

РАНИМЫЙ ЕЖ

«Ой, — сказал еж, —
я ранимый еж,
я добрый, милый, хороший.
И разве кто-нибудь сможет
сказать, что я злой?»

Еж будто бы сам не свой,
ведь он такой невезучий,
раз его доброта колючая.

«Ой, — сказал еж, —
я печальный еж,
и мне очень одиноко!»

От этой правды жестокой
он жил без друзей совсем,
колол иголками всех,
а после жалобно плакал
под остроконечными латами.

* * *

Скачет тьма на вороной кобыле,
хлестко вздымается черный хвост.
Скачет тьма бесшумным галопом
и расчесывает волосы
гребнем звезд.
Тьма кусает кусочек луны,
а затем убегает
и засыпает
в глазах совы.

Альбер САМЕН

* * *

Свое пленное детство я прожил в камнях
Того города, где, вырывая углём,
Завод пожирает бессильный народ.
И, чтобы видеть сады, я прятался в снах.

Я вырос; мечтал о востоке, о блеске огней,
О цветущих берегах, чей воздух так чист и приятен,
О золотых городах и, почтенный скиталец,
О рапирах, что бьются о твердь флорентийских камней.

Мне затем опротивел картонный декор.
Я в себе душу Севера смог расслышать,
С каждым днем ее пение сердцу все ближе.

О Фландрия, твой образ женщины чистой,
Твой суровый народ, где конфликту нет места,
Твоя нищая сладость, от которой колотится сердце.

Твои топи, луга, где ржавеет лен,
Лодки, небо, макушки мельниц, что скрылись в нем,
И вдова с детьми в облачении гробовом...

Сандрин ДЭВИН

СТАРУХА

«Старуха» здесь давний гость.
Она сидит на скамейке парка.
Никому не нужна эта бабка,
Ни вчера, ни сегодня,
совсем никогда.
Как друзья ее самые близкие,
С ней беседуют голуби сизые
И вчера, и сегодня, и, впрочем,
Всегда.
«Старуха» совсем одна.
Никому до нее нет дела.

Она легко бы могла
Хоть завтра прервать жизни муку,
Но кто бы пришел к ней тогда
Подержать за ослабшую руку?
Ведь «старуха» совсем одна.

* * *

Она грезит о прожитых днях,
О беспечности, детстве,
Ушедших годах,
Когда ярко блестели цветы на полях.
Это все обращается в прах,
Как сегодня, как завтра и
Как всегда.
Ее голуби бросились вон.
Этой старой теперь уж нет,
И всю боль ее лет
Забрал бесконечный сон...

The original poem by Zaur GANAEV
Translation from Russian by Polina VIZIROVA

* * *

Swans and ducks, seagulls and doves,
Why don't you leave this compassionless town?

Have I seen you at home and not on the road?
Who knows me as well as your lump knows your throat?

Is it some news your beak is proudly pulling?
Or is it a message shaped like a bullet?

Having a plenty of time to spare,
Seagulls, why aren't you answering my despair?

The speech and the soul are always left high and dry,
Oh, birds, my poems, why wouldn't you reply?

Start shivering! Cry!

Хетаг БИГАЕВ

ЭПИТАФИЯ ЛЮБВИ

ЭССЕ



Жан Вальжан. Художник Г. Брион

Процесс попадания в зыбучие пески художественного слова всегда довольно утомителен, так как, помимо сюжетной глины, фабульной основы произведения, там всегда налицоует масса жидкости, перемешанной с грязью, которая, на первый взгляд, никакого отношения к выстраиванию повествования не имеет. С такими мыслями я подходил к пропасти, именуемой романом-эпопеей «Отверженные» В. Гюго, однако по завершении знакомства (первичного и поверхностного) с этим удивительным полотном позиция изменилась в корне.

Экспозиция

Франция эпохи Реставрации. Литосферные плиты миропорядка сдвигаются. Нация, преисполненная идей собственного превосходства, богоизбранности, переходит в стадию формирования компромиссов: как социальных, так и государственных. Этот процесс внутреннего и внешнего разлада затрагивает общество, неизбежно отражаясь в каждом его элементе, но Гюго был бы условным Чернышевским или Герценом, Радищевым, в конце концов, если бы начал писать картину такими широкими мазками.

На первых страницах романа перед нами возникает фигура картонная, как любят выражаться в литературных кругах, без каких-либо форматов развития и надломов. Епископ Диньский, монсеньор Бьянвеню — это оплот романа, тот идеал, к которому неизбежно будет возвращаться автор для оценки сообщаемых

читателю взглядов и размышлений. Если угодно, это прообраз светского Иисуса Христа, вобравший в себя концентрат ценностей европейской религиозной мысли. И столкновение главного героя романа, Жана Вальжана, озлобленного и жестокого каторжника, с этой скалой приводит к тому, что верующие люди называют разворотом на 180 градусов, покаянием, метанойей — к первому шагу навстречу свету. Как прекрасна сцена, в которой преисполненный истины ангел из Дина дарит украденные подсвечники человеку из преисподней: «Жан Вальжан, брат мой! Вы более не принадлежите злу, вы принадлежите добру. Я покупаю у вас вашу душу. Я отнимаю ее у черных мыслей и духа тьмы и передаю Богу».

Важно отметить, понимание света у Гюго не ограничивается религиозной доктриной, а совмещается с просветительскими взглядами, что ярко выражается в последующих главах романа. Все социальные катастрофы «Отверженных» рождаются во тьме: как духовной, так и интеллектуальной. Да и буквально: темнота — друг демонического (события в лачуге Горбо, ночные «погони» маленькой Козетты, баррикада на улице Шанврери, побег Тенардье).

Параллельно автор делает набросок Фантины, юной нимфы, воплощающей в себе и радость, и чистоту, и стыдливость. Фантина — проблеск зари безмятежным весенним утром. Провинциальная девочка-сирота, перебравшаяся в Париж в поисках лучшей жизни, в поисках тепла, в поисках чувства, способного избавить ее от перманентного одиночества: «Она была невинностью, всплывшей над пучиной греха». Создав иллюзию любви, Фантина полностью отдалась и покорилась чувству, не ища опоры ни в знаниях, ни в вере, ни в обществе, предавшись назначению женщины и забыв о назначении человека. Это привело к тому, что Париж, вбирающий в себя лишь сильных мира сего, изрыгнул Фантину из пасти с анафемой, которая впоследствии ввергла кристальную душу в беспроглядную тьму. Имя этой анафеме — нищета (смотрите первоначальное название романа). «Нищета... Чудесное и грозное испытание, из которого слабые выходят, потеряв честь, а сильные — обретя величие. Это горнило, куда судьба бросает человека всякий раз, когда ей нужен подлец или полубог. Ибо в мелкой борьбе совершается много великих подвигов».

Жан и Фантина — зеркальные персонажи. Только вот зеркало кривое. Один карабкается, поднимаясь в гору, вторая канет в ому-

те греха и грязи; первый очищается от скверны, доверяясь Богу, а вторая оскверняет душу, доверяясь порыву страсти. Заметим, изначально они были на противоположных позициях: Фантина — свет, Жан — тьма. В подобных метаморфозах и есть авторское понимание рока, который слагается из социального неравенства и божественного предопределения, античного толкования двойственности души и тела. В подобной концепции «Отверженные» о каждом из нас.

Развитие действия и кульминация

В моем восприятии романа есть три водораздела, если так можно выразиться, три кита, на которых держится и фабула, и посыл, и художественная ценность. Первый — описание битвы при Ватерлоо и восстания 1832 года, сопоставимых по драматизму, по автономности напряжения читателя с последними мгновениями существования, когда память вбирает, словно медовые соты, каждое оставшееся дыхание; второй — две ночи, определяющие личность Жана Вальжана, последовательность его непосредственности, преданность христианским ценностям и безумие чуткой, как вдохновение, совести; третий (личный фаворит среди китов) — вытекающая из логики повествования кончина детей Тенардье, Гавроша и Эпонины.

Ватерлоо и Шанврери

В определении Википедии роман «Отверженные» характеризуют как социально-историческое полотно о жизни французского общества во всех его гранях и проявлениях. Не совсем согласен с эпитетом «французский», так как полотно это, на мой взгляд, не может быть привязано к конкретной нации, разве только формально.

Любой великий беллетрист, художник, поэт, описывая народность, ненароком захватывает человечество, потому что по природе своей француз девятнадцатого века не сильно отличается от пуэрториканца, македонца или россиянина современности. И я утверждаю это, отталкиваясь не столько от личного опыта, сколько от полифонического влияния вечнозеленых мертвцевов

литературы. Битва при Ватерлоо в историческом контексте есть не что иное, как катарсис знаменитых «ста дней» Наполеона. Агония императора, ставшего узником собственных идеалов и амбиций. Кумир миллионов до и миллиардов после, оказавший колоссальное влияние на развитие философской парадигмы, культурного мировоззрения в целом, попрощался с Европой кровавым балом, танцуя со смертью под аккомпанемент выстрела, сабельного визга и слез.

Чувствуете восхищение? Так я его и не скрываю. Более того, его не скрывает и Виктор Гюго, в тексте которого безоговорочное поражение Бонапарта есть результат непостоянства фатума, этой капризной и легкомысленной дамы: «Пробил час падения необыкновенного человека. Чрезмерный вес его в судьбе народов нарушил общее равновесие. Его личность сама по себе значила больше, чем все человечество в целом. <...> На императора была вознесена жалоба Небесам, и падение его было предрешено. Он мешал Богу. Ватерлоо — это не битва. Это изменение облика всей вселенной».

'Ανάγκη¹

А вот июньское восстание было предрешено уже по факту своего возникновения. 1832 год ознаменовал собой борьбу прошлого с неизбежно наступавшим будущим. Бонапарт в своем падении был ничуть не меньше, если не больше Наполеона в славе. И молодость, впитывающая только лучшее с молоком матери, наполнилась прекрасными лозунгами отжившего мира. «Свобода, Равенство и Братство» — ну что, казалось бы, может быть лучше? Приоритет права над законом, едва различимая линия совести, которую и ныне многие отказываются лицезреть. Идеалы угасшей республики в речах юноши, который родился на двадцать лет раньше или позже положенного: «Братья! Вот здесь, на этом месте, объединяются те, кто мыслит, с теми, кто страдает. Не из камней, не из балок, не из железного лома построена наша баррикада; она воздвигнута из великих идей и великих страданий. <...> Братья! Кто умрет здесь, умрет в сиянии будущего, и мы сойдем в могилу, всю пронизанную лучами зари». Анжольрас. Герой Фермопил. Мальчик, ставший мужчиной в ложе неверной пассии, имя

¹ Ανάγκη (др.-греч.) — рок, судьба, неизбежность.

которой Родина. (Н. В. Когда будете читать, пожалуйста, обратите внимание на описание батальных сцен и проведите непреходящую линию к роману-эпопее Л. Н. Толстого «Война и мир».)

Гефсимания

Каждый из нас переживал (или переживает) определяющую ночь собственной жизни. Ночь, в которой ты узнавал путь, по которому предстоит идти, изучал тропинки, порою извилистые и заросшие, возникшие в саду собственной души. Ночь бескомпромиссной откровенности разума и невозможности лжи, ибо, как завещал Федор Михайлович, «лгущий самому себе и собственную ложь слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а, стало быть, входит в неуважение и к себе, и к другим».

Именно такую беспросветную тьму пришлось преодолевать Жану Вальжану. И не единожды. В первый раз он сделал это ради совершенно незнакомого человека, попрощавшись с богатством, уважением и властью, которой, признаемся, он не особо и дорожил; а во второй — отказавшись от той, что была для него ближе и любимее всех; в обоих случаях поставив счастье ближнего несравненно выше собственных спокойствия и благодати. Если вы думаете, что это было просто, то представьте, что, вернувшись из ада, познав истину и вкусив плоды любви и радости, вы сызнова добровольно спускаетесь в царство мрака и печали, где черти будут лить кровь и истязать ваш дух вечно: «Он оставался до утра в том же положении, уронив голову на кровать, сломленный непомерной тяжестью судьбы, — увы, раздавленный, быть может! — судорожно скжав кулаки, широко раскинув руки, точно распятый, которого сняли с креста и бросили наземь лицом вниз. Двенадцать часов, двенадцать часов долгой зимней ночи пролежал он, окоченевший, не поднимая головы, не произнося ни слова. Он был неподвижен, как труп, пока его мысль то змеей влачилась по земле, то взлетала в небо, подобно орлу. Видя это застывшее тело, можно было принять его за мертвого: по временам он судорожно вздрагивал и, припав к платьицам Козетты, начинал покрывать их поцелуями; тогда было видно, что он жив. Кто это видел? Кто? Если Жан Вальжан оставался один в комнате и рядом никого не было? Тот, кто не дремлет во мраке».

Думаю, не стоит проводить параллель с текстом Священного Писания, аллюзии очевидны: мистическое значение цифры двенадцать, внутренняя борьба, олицетворяющая проблематику мироздания со временем Эдема, упоминание змея как порождения низости, абсолютное одиночество Жана и невозможность избавиться от той ноши, от рока, который ему предписан.

Гаврош и Эпонина

В конце «золотого века» литературы возникло понятие натуралистического романа, основоположником которого считается соотечественник автора «Отверженных» Э. Золя. В основе его концепции лежала невозможность человека выбраться за пределы среды обитания, наследственности, физиологии, то есть любой писатель тут превращался в исследователя, который имел больше общего с врачом, нежели с художником. Так называемые экспериментальные романы оказали огромное влияние на декадентов и модернистов, в том числе стали частью философии А. П. Чехова. Однако уязвимость оных взглядов, на мой взгляд, упирается в персонажей, подобных Гаврошу и Эпонине: живых, стремительных, не поддающихся контролю и анализу не то что читателей, но и самого создателя произведения.

Их существование (именно существование, так как жизнью это бытие назвать чрезвычайно сложно), полное горя и мытарств, полностью оправдано смертью, преисполненной величия героев античности. Эти воины нищеты, поднявшие забрало нежности и с любовью взирающие на ближнего, с видимой легкостью переносили все удары социальной катастрофы, постигшей невежественное, порочное поколение отверженных, павших на дно граждан, включая собственного отца — господина Тенаардье.

Но когда Эпонина, истекая кровью и собирая крупицы истлевших сил, пытается улыбнуться, заботясь о человеке, которого любит, когда Гаврош, маленький мальчик с большим сердцем, поет песни под свист вонзающихся в него пуль, я понимаю, нет, я верю, что человек по природе своей есть добро и свет.

Эпилог

Ну что ж, пора прощаться! Au revoir! Salut! Adieu!

Я уверен, что спустя годы вернусь к «Отверженным» (вернее, они настигнут меня), столько еще хочется рассказать, написать, передать: счастье Жильнормана, клоаку, в которой оказались Мариус и Жан Вальжан, диалог Понмерси-старшего и Мабефа, красоту отчаяния Жавера, изысканность и своеобразие арго. Но все это после.

Сейчас я закрываю книгу, осознавая, что Слово только открывается в моей душе, преобразуя ее в нечто иное. Последняя просьба моя и каторжника — не указывать имен на надгробии. Потому что они, в сущности, не имеют значения. Весь наш путь есть только эпитафия любви.

*Он спит. Хоть был судьбой жестокою гоним,
Он жил. Но, ангелом покинутый своим,
Он умер. Смерть пришла так просто в свой черед,
Как наступает ночь, едва лишь день уйдет.*



РЕЦЕНЗИИ СТУДЕНТОВ СОГУ НА КНИГИ



Иван Бунин. «Бернар» Рецензия Дарьи Ситниковой

«Бернар» — это один из последних рассказов Ивана Бунина, который он написал за год до своей смерти. Чувствуя, как жизнь подходит к концу, он невольно начал задумываться об итогах своей карьеры писателя. Так, в произведении автор выражает мнение о предназначении таланта, а также анализирует собственное творчество.

В основе рассказа лежат путевые заметки Ги де Мопассана «На воде». Лирический герой Бунина вспоминает записи о персонаже — моряке Бернаре, который жил в Антибах и управлял любимым кораблем «Бель Ами». Он был неразговорчив, а на своем судне всегда поддерживал чистоту и порядок, за это люди восхищались им.

Но главным в рассказе является совсем не сюжет или поведение и поступки героев, а смысл, который автор преподносит прямо, кратко и художественно. Главная идея проходит нитью через все повествование, в конце которого автор дает оценку своему жизненному пути, проводя некую параллель с героем Мопассана Бернаром.

В рассказе поднимается вопрос, связанный с предназначением человека. Лирический герой рассуждает: у каждого есть талант, который он обязан раскрыть. Но сделать это он должен не ради себя, а по воле Бога. Человек никогда не узнает, зачем ему дана та или иная способность, главное — это его стремление развить свой талант и усердно трудиться. В этом и есть его заслуга перед Богом. Таким был и Бернар: он чувствовал свое предназначение и достойно, по совести исполнял свой долг — был превосходным моряком и содержал свое судно в идеальной чистоте.

Эта мораль очень проста, хотя, может быть, и неочевидна, особенно для людей, которые посвятили свою жизнь творчеству. Человек не может оценить свою работу по достоинству, взглянуть на нее объективно. Люди называли Бернара верным человеком и превосходным мореплавателем, он же сказал о себе лишь одно, незадолго до смерти: «Думаю, что я был хороший моряк». Лирический герой на примере Бернара показывает, как вера и скромность помогли ему достойно пройти путь, предназначенный свыше, и в конце этого пути с чистой совестью подвести итог своей жизни.

Главный плюс произведения заключается в балансе сюжета и морали: автор умело сплетает произведение Мопассана, его персонажей и свою главную мысль. Суть рассказа проста и очень быстро становится понятна. Небольшой объем повествования позволяет легко одолеть его за один присест. Текст быстро воспринимается, основная его мысль ярко выделяется для читателя и оставляет после себя возможность и желание размышлять о собственном предназначении.

И еще одно несомненное достоинство книги: Бунин как бы дает читателю ключ к разгадке смысла повествования, позволяя быстро дойти до сути.

Единственный недостаток — это неполное раскрытие персонажей, остается желание больше узнать о моряке в рамках рассказа, без нужды обращаться к оригинальному произведению.

Таким образом, рассказ оставляет после себя приятные ощущения и дает пищу для размышлений. Произведение может заинтересовать тех, кто отчаянно нуждается в поддержке, когда занимаешься своим любимым делом, каким бы оно ни было. Каждый человек хочет работать так, чтобы в конце своего пути он мог, подобно Бернару, сказать себе и Богу: «Думаю, что я был хороший моряк».

Рюноскэ Акутагава. «Мандарины»

Рецензия Алины Бираговой

Рюноскэ Акутагава — классик японского модернизма, мастер короткого рассказа. Его спасением и любовью, святыней и родным очагом стало писательство. Мощная одержимость литературным творчеством побудила автора издать за короткий проме-

жуток времени несколько сборников прозы, эссе, новелл и критических статей.

Одна из ведущих тем творчества Акутагавы затрагивает и освещает обширный круг проблем и пороков — как внутренних, мучающих их носителя, так и внешних, втягивающих посторонних людей. Все это автор показывает сквозь призму глубокого психологии, обращая внимание на детали.

Данная тематика прослеживается и в рассказе «Мандарины», опубликованном в 1919 году. Ранним зимним утром пассажир, сидя в вагоне второго класса, ждет отправления поезда. Внезапно перед самым отправлением дверь распахивается, и в купе влетает девочка. Его мнение о ней складывается негативное: глупая, грязная, некрасивая. Но тут он становится свидетелем следующей картины: девочка, высунувшись в окно, осыпает своих братьев, провожающих ее, ярко-оранжевыми мандаринами. Это заставляет мужчину задуматься и поменять свое мнение.

Акутагава поднимает, казалось бы, такой простой, но очень важный вопрос, актуальный и в наше время: а можно ли доверять нашему первому мнению? Стоит ли судить о человеке, поддавшись своему первому впечатлению о нем? И писатель отвечает на этот вопрос не прямо, а через своего героя. С первого взгляда эта деревенская девочка произвела на него неприятное впечатление. Его раздражает в ней буквально все: и сухие волосы, и рябоватые потрескавшиеся щеки, и замызганный зеленый шерстяной шарф, ее мужицкое лицо, и то, что она неопрятно одета, и, наконец, ее тупость, так как она перепутала вагоны второго и третьего класса. Но эпизод с мандаринами, их «свежая яркость» настолько впечатлили героя повествования, что он посмотрел на эту девочку уже совсем другими глазами. Его накрыло «какое-то непонятное светлое чувство», которое взволновало его до глубины души, и на какое-то время он смог забыть «о своей невыразимой усталости и тоске и о непонятной, низменной, скучной человеческой жизни». Здесь Акутагава, делая акцент на деталях, наталкивает читателя на мысль: любое, даже самое незначительное слово или действие может оставить глубокий след в душе человека и даже изменить ход его мыслей, по-новому взглянуть на, казалось бы, очевидные вещи.

По ходу повествования меняется атмосфера и настроение не только рассказа, но и читателя. Вместе с рассказчиком нам холодно в это зимнее утро, все кажется серым и угрюмым, но совсем

по-другому ощущается концовка — она яркая, она теплая, она заставляет улыбнуться.

«Мандарины» — маленький рассказ, не претендующий на философские размышления, тем не менее он оставляет яркое впечатление своей глубиной и образностью. Данный текст понравится и запомнится читателю своим стилем и короткой формой, легким ненагруженным повествованием, деталями, которым автор придает особое значение.

Однажды Акутагава написал в письме жене: «Я моментально оживаю, когда передо мной бумага, книги, перо и хороший табак». Так и его произведения моментально оживляют и вдохновляют читателя.

Михаил Булгаков. «Дьяволиада»

Рецензия Ольги Калоевой

«Дьяволиада» Булгакова увидела свет в 1924 году, опубликованная с подзаголовком: «Повесть о том, как близнецы погубили делопроизводителя». Она произвела на читателей того времени смешанное впечатление. Все течет и меняется, а текст и сейчас продолжают оценивать неоднозначно. С уверенностью сказать можно одно: вряд ли он кого-то оставит равнодушным.

Варфоломей Коротков, «нежный, тихий блондин», преспокойно служил в Главцентробазспимате (Главной Центральной Базе Спичечных Материалов). Типичные проявления бюрократической машины обнаруживаются уже в самом начале текста, в этом длинном и незвучном названии.

В один из дней в Спимате зарплату работникам выдают продуктами производства — спичками. Тогда и начинается черная полоса для Короткова. В одночасье жизнь героя превращается в сущий ад. С каждым днем он все глубже погружается в пучину кошмаров, которые в итоге становятся для него единственной реальностью.

По мере того как разворачиваются события повести, присутствие автора как бы улетучивается. Если в первых главах читатель чувствует его фигуру, косвенно выраженную отношение к происходящему, то чем дальше, тем более расплывчатой и далекой эта фигура становится. Коротков остается один на один со своим безумием.

Интересно также, что параноидальные мысли Короткова материализуются. Только он подумал о Кальсонере: «Ведь не двойной же он в самом деле?» — как на следующий день этого Кальсонера словно расщепило — один был с бородой, а другой без.

Мистические события повести трактовать можно по-разному: то ли главный герой сошел с ума по причине своих слабых нервов, то ли надышался сернистого газа от спичек и бредил... Или вся эта неразбериха произошла с героем на самом деле, пока он находился в здравом рассудке: может, в его мирную жизнь действительно вмешались дьявольские силы.

Автор мастерски передает ужас от безысходности, который охватывает главного героя, заставляя читателя сопереживать Короткову и претерпевать нескончаемую череду фантасмагорий вместе с ним. Погружение в перманентную атмосферу бреда и слияние с мыслями Короткова уже дарует читателю множество эмоций. Но если попробовать дистанцироваться и взглянуть на происходящее в повести с отстраненной позиции наблюдателя, появляется другое чувство. Читатель видит, как маленький человек полностью теряет рассудок, утопая в дьявольской канцелярщине. Невольно задумываешься о том, как слаб человек по своей природе, каким одиноким и непонятным он может оказаться в своем гнетущем бреду, вызванном страхами.

В завершение хочется добавить, что произведение относится к периоду раннего творчества писателя и не может быть названо одной из величайших рукописей первого ряда, но все равно заслуживает внимания читателя.

Фэй Уэлдон. «Сердца и судьбы»

Рецензия Амины Каххаровой

«Сердца и судьбы» — это не просто название романа британской писательницы Фрэнклин Биркиншоу (более известной как Фэй Уэлдон), это его емкий и гордый девиз. Опубликованный в 1987 году, роман не стал центром внимания читателей. А на сегодняшний день это не самое известное произведение на русскоязычном пространстве. Однако роман заслуживает признания. Вы убедитесь в этом здесь и сейчас.

В центре истории — Клиффорд, Хелен и малышка Нелл, о чем первым делом сообщает нам автор. Действие разворачивается в современном западном мире. Трагедия следует за трагедией: влюбленные разлучаются, бесследно пропадает любимая дочурка. Сплетутся ли судьбы вновь? Сколько испытаний еще на пути? О любви и ненависти, о преданности и предательстве, а главное — о жизни прекрасный роман Фэй Уэлдон «Сердца и судьбы».

«Впрочем, весь мир полон всяких “должно было бы”, “не должно было бы”, не правда ли? Ах, если бы то! Ах, если бы се!» Эти строчки встречаются нам еще в начале истории. И как же точно они дают понять, что перед нами именно «история», никакое не разукрашенное всеми цветами радуги художественное произведение. Не мы ли, уважаемый читатель, имеем привычку перед сном перебирать в голове все слова, произнесенные за день, все мимолетные происшествия с мыслью: «Я мог бы сказать то-то, я мог бы сделать то-то...»? Это прерогатива живого человека. Так вот, под пером Фэй Уэлдон рождается жизнь. Жизнь непредсказуемая, как и ее « проживатели». Но разве наша с вами жизнь предсказуема? Она так же полна неожиданностей. Сегодня я пишу эту рецензию, а завтра... Что будет завтра? Я не стремлюсь обременить вас философией, лишь хочу убедить, что «Сердца и судьбы» — это полноценная история жизни.

Среди персонажей мы можем найти подобного себе. Они неидеальны: Клиффорд с его честолюбием и циничностью; чувствительная Хелен; крошка Нелл, травмированная, с ее проблемами с доверием; избалованная Анджи; Дэвид с его ненавистью к детям; Ларри Пэтт, что любит девушек помладше... Однако нельзя назвать их карикатурными, у них есть и достоинства, ввиду которых, как и в жизни, мы вправе закрыть глаза на недостатки: Клиффорд умен, Хелен целеустремленная, Нелл глубоко чувствующая, Анджи эмпатична, Дэвид горделив, у Ларри огромное любящее сердце. И масса прочих с их пороками и добродетелями. Они совершают ошибки, исправляют их и совершают вновь. Вот она, реальность. Человеку свойственно ошибаться. Персонажи Фэй Уэлдон настолько живые, настолько реальные, что рука не поднимается написать «герои» (потому простите мне мое неоднократное «персонажи»).

Перо автора, под которым родилась эта история, остро под стать ее языку. Фэй Уэлдон не отступает от свойственной ей манеры язвительного и сатирического изложения, которая прослежи-

вается и в ее ранее опубликованных и более известных романах. Она беспощадно насмехается над написанными ею чересчур глупыми событиями, женщинами, мужчинами. Хотя текст изобилует художественными средствами, необходимыми для атмосферного описания деталей, для яркой иллюстрации характеров, читается он легко именно за счет авторского «смеха между строк».

В основе, как неоднократно повторялось ранее, лежит история жизни, из которой каждый может извлечь урок. Однако стоит копнуть глубже — и мы обнаружим феминистические мотивы. Не просто исследование и обличение проблемы равноправия полов, а утверждение их равноценности: реализация женщины как личности наряду с мужчинами, идеи самовыражения женщин в мире мужчин. Между прочим, один из основных поводов для язвительной шутки.

Позвольте мне обойтись без критики, ведь единственный, на мой взгляд, порок этого романа — его малоизвестность. Он имеет полное право стоять на полке у каждого наряду, к примеру, с «Жизнью» Ги де Мопассана. Эта книга идеально подойдет ценителям едкой сатиры и идеального изображения неидеальной, следовательно настоящей, жизни. У них понять книгу шансов больше, чем «у всяких разных прочих».

Говард Филлипс Лавкрафт. «Сны в ведьмином доме» Рецензия Лейлы Мамедовой

Говард Филлипс Лавкрафт — американский писатель, известный своими мистическими произведениями, объединенными в цикл «Мифы Ктулху». Его творчество выделяется в отдельный поджанр литературы ужасов. При жизни писатель был почти неизвестен, его работы публиковались в журналах, и только в 1970-х годах к его творчеству проявили научный интерес.

Рассказ «Сны в ведьмином доме» был написан в феврале 1932 года и впервые опубликован в июле 1933 года в американском журнале *Weird Tales*. В России его также издавали под названием «Грезы в ведьмовском доме».

В этом произведении Лавкрафт погружает читателей в свой мир ужасов. Главный герой, Уолтер Гилман, — студент-математик, стремящийся раскрыть тайну четвертого измерения. На протяжении рассказа он также исследует тайну исчезновения ведьмы Кезии.

Уолтер Гилман сталкивается с кошмарами в доме ведьмы, и ему предстоит понять, почему его сны влияют на реальность вокруг. Спокойная жизнь остальных персонажей в доме напрямую зависит от того, сможет ли главный герой справиться с этими кошмарами.

Из сильных сторон рассказа стоит отметить его гнетущую атмосферу. Лавкрафт не сразу раскрывает мистическую суть дела, позволяя читателям погрузиться в обычную жизнь студента-математика. Ужас происходящего раскрывается постепенно, создавая сильный контраст между кошмарами и обычной жизнью, что давит на читателя так же, как и на героев.

Каждый персонаж, будь то главный герой или второстепенный, запоминается своей яркостью. Образ ведьмы и ее фамильяра способен напугать любого.

Язык Лавкрафта витиеват, и к нему нужно привыкнуть. Детальные описания атмосферы позволяют читателю представить картину происходящего.

Этот рассказ производит хорошее впечатление. Интересно узнатъ тайну исчезновения ведьмы и сможет ли главный герой с помощью науки справиться со всем мистическим, что его окружает.

Произведение особенно понравится всем поклонникам жанра фантастических ужасов.

Донна Тартт. «Тайная история»

Рецензия Стефании Панацотиди

«Тайная история» — первый роман американской писательницы Донны Тартт, впервые изданный в сентябре 1992 года.

Роман о закрытом круге студентов в колледже Хэмпден. Интеллектуальная элита, оградившая себя от всего мира, отрицающая современность и все ее блага. Студенты факультета классической филологии, поклоняющиеся олимпийским богам, в частности Дионису, решают воссоздать античную вакханалию.

Язык Донны Тартт является собой сложную и совершенно неповторимую структуру. Тартт глубоко погружает читателя в пространство романа — за счет его объема. Автор делится с нами каждой подробностью о помещении, в котором находится герой, о содержимом его бокала, о трещине на часах. Писательница очень талантливо использует метафоры и с их помощью создает

яркие образы главных героев. В сознании читателя персонажи ожидают с момента их первого появления за счет необычных метафор и эпитетов.

Помимо всего прочего, Донна Тартт невероятно талантливо завладевает вниманием читателя буквально с первых строк: «В горах начал таять снег, а Банни не было в живых уже несколько недель, когда мы осознали всю тяжесть нашего положения». Таким образом, читатель, заведомо знающий о смерти одного из главных персонажей, постепенно, шаг за шагом распутывает клубок событий, пытаясь добраться до разгадки: что же все-таки произошло с Банни?

Особое внимание мне хотелось бы обратить на рассказчика, а именно Ричарда Пэйпена, главного героя романа. Читатель, привыкший доверять вездесущему рассказчику в литературе, будет поражен тем, как Ричард, путаясь в своей истории, перевиная ее, чтобы обелить себя и попытаться оправдать тех, кого он так религиозно превозносил, иногда незаметно, а иногда совершенно нагло врет, играя с восприятием читателя, заставляя любить и ненавидеть тех, кого любит и ненавидит он. Мы доверяем ему, несмотря на то, что Ричард признается нам, что он врун. Но ведь он врет другим героям, а не нам, верно? Неверно.

В заключение мне хотелось бы сказать, что Донна Тартт является изумительным автором, неповторимым в своем роде. Язык ее богат и изыскан, каждая деталь продумана и важна. Она, несомненно, станет классиком, о котором будут вспоминать и кого будут читать еще долгие годы. Вся прелест ее романов, на мой взгляд, заключается в том, что под властью ее слов находятся не только ее герои, но и читатели. Писательница мастерски владеет словом и, несомненно, очарует каждого, кто возьмется за чтение ее романа.



АВТОРЫ НОМЕРА

АГУЗАРОВА Саша родилась во Владикавказе в 1992 году. Окончила факультет журналистики Московского государственного института культуры. Мини-поэма в прозе «Скифянки» вошла в шорт-лист оцен-колла литературного журнала «Незнание».

БАБАЕВА Аида родилась и живет в Махачкале. Преподает историю мировой литературы в Дагестанском государственном университете. Пишет диссертацию о чилийской поэзии.

БИГАЕВ Хетаг родился в 1995 году в с. Заманкул Северной Осетии. В 2019 году окончил филологический факультет СОГУ. Публиковался в журнале «Дарьяль». В 2024 году стал участником мастерской АСПИР в Дербенте. В настоящее время работает редактором в филиале Маринского театра во Владикавказе.

БЛАГОВА Дарья родилась в Кавказских Минеральных Водах в 1993 году. Автор романов «Южный ветер» и «Течения». Номинант премий «Национальный бестселлер» (2022), «Ясная Поляна» (2023 и 2024), «Большая книга» (2024), резидент Дома творчества «Переделкино», выпускница Школы литературных практик. Публиковалась в литературных журналах «Юность», «Дружба народов», «Артикуляция», сборниках «Одной цепью», «Срок годности», «Механическое вмешательство», «Тело». Живет в Кавминводах.

ВИЗИРОВА Полина родилась в 2003 году во Владикавказе. Окончила школу № 7. Выпускница переводческого факультета Московского государственного лингвистического университета, лауреат всероссийских переводческих конкурсов. Переводит поэзию с английского, французского и финского. На ее счету переводы стихов таких поэтов, как Элизабет Бишоп, Сергей Есенин, Перси Шелли, Альбер Самен, Кирилл Гуржибекова, и других.

ДОГУЗОВА Залина родилась в 1978 году в Южной Осетии. Окончила отделение вокала Цхинвальского музыкального училища им. Ф. Алборова, факультет осетино-персидской филологии Юго-Осетинского государственного университета. Дополнительное образование получила в секторе иранских языков в Институте языкознания РАН. Публиковалась в журналах «Литературный курс», «Волга — XXI век», «Караван» (Иран). Лауреат поэтических конкурсов. Член Российской союза профессиональных литераторов и Клуба писателей Кавказа. Автор двух поэтических сборников и ряда научных статей.

ДЫМЧЕНКО Денис родился в 2003 году. Выпускник Ставропольского государственного педагогического института. Учитель истории и обществознания. Критика и проза его публиковались на портале «Год литературы», в журналах «Наш современник», «Сибирские огни», «Кольцо А», «Пролиткульт», «Дарьяль» и др. Обладатель специпризов литературных премий «Лицей» («за эзистенциальную глубину») и «Иду на грозу», финалист конкурса на Волошинскую премию, вошел в лонг-лист премии «Гипертекст». Участник мастерских и резиденций АСПИР и форума «Липки».

ЗУБАИРОВА Индира родилась в городе Буйнакске Республики Дагестан. Помощник режиссера в московском музыкально-драматическом театре «Ромэн». Автор книг «Чердаки Анхии», «На этом краешке земли» и «Имя отнял мулла». Лауреат премии имени Юсуфа Хаппала-ева. Автор проекта «Литературный цех».

КАРГИНОВ Азамат родился в 1990 году во Владикавказе. В 2012 году окончил биологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Работает в ФИЦ Биотехнологии РАН научным сотрудником.

КАДИЕВ Сармат родился в 2000 году во Владикавказе. Окончил эстрадное отделение (гитара) Владикавказского колледжа искусств им. В. Гергиева. Участвовал в отборочном туре

«Российского литературного слэма» в Нальчике. Организатор поэтических вечеров «СБОРИЩЕ» во Владикавказе. Ранее не публиковался.

МУСАЕВ Алан — поэт, финалист турнира поэтов за 2024 год, финалист большого турнира поэтов СКФО, проходившего в Нальчике в 2024 году, победитель поэтического конкурса, организованного администрацией главы и правительства Дагестана в Махачкале в 2023 году. Публиковался в газете «Горцы», журнале «Дагестан», альманахе Клуба писателей Кавказа «Цветы и камни».

МУСАЕВ Магомедрасул родился в 2007 году. Является актером Дагестанского государственного театра кукол в Махачкале и режиссером независимого театрального проекта «ICCRUSHIN». Стихи начал писать в 2022 году. Является лауреатом поэтических фестивалей и конкурсов. Публиковался в альманахах «Страна последних рыцарей» и ТО «Собака».

МУССОВА Мария родилась в 1983 году в Нальчике. Окончила Финансовую академию при Правительстве РФ. Прошла курс «Базовое литературное мастерство» в Creative writing school. Занималась арт-фотографией, автор и организатор выставок в Москве, Нальчике, Майкопе. Живет в Москве. Работает редактором в Rambl&Co.

МЯКИНИНА Алена родилась в 1979 году в Нальчике. В 2001-м окончила отделение русского языка и литературы филологического факультета КБГУ. В 2015 году в Институте повышения квалификации получила диплом преподавателя в области искусства. С 2002 года работает журналистом, сотрудничая с различными печатными изданиями КБР. Преподавала русский язык, литературу, мировую художественную культуру, музыку в Лицее для одаренных детей «Солнечного города». Последние годы — заместитель редактора газеты «Нальчик». В апреле 2025 года презентовала в родном городе свой первый поэтический сборник «Мохо».

САЛАХАНОВ Адам родился в 1984 году в Грозном. Прозу начал писать с 28 лет. Работал над адаптацией своих рассказов «Зов могилы» и «Дереализация» в киносценарии «Ц1япцалг» и «Тускар», по первому независимый режиссер Заур Цугаев снял фильм. С 2019-го — член Союза писателей России. Участвовал в художественном проекте галереи «Гараж» с последующей выставкой экспериментальной трилогии «Де» и графическим романом «Петроспектр. Таймасх». Ведет литературный телеграм-канал «book{ассенизатор». Живет в Москве, занимается дизайном помещений и строительными работами.

САПЕГИНА Дина родилась во Владикавказе в 1994 году. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького (проза, мастерская А. Н. Варламова). Публиковалась в журнале «Новый мир». В 2024 году вошла в длинный список премии «Лицей». Лауреат премии «Слово» (3-е место в номинации «Молодой автор»).

САХРУЕВ Арсен, 31 год. По образованию биолог, окончил магистратуру на кафедре биохимии и молекулярной биологии в Дагестанском государственном университете. Работал тренером по шахматам (кандидат в мастера спорта), лабораторным генетиком в Республиканском перинатальном центре им. С. Омарова. В настоящее время является сотрудником художественно-публицистического журнала «Дагестан», ведущим махачкалинского книжного клуба.

СТАШ Зарема родилась в Ташкенте в 1982 году. Адвокат, кандидат юридических наук, преподаватель Адыгейского государственного университета. Публиковалась в журналах «Огни Кубани» и «Южный маяк».

ТАМАЕВ Астан родился в Дигоре в 1997 году. Окончил факультет журналистики Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова. Занимается дистанционной подготовкой школьников к экзаменам, в свободное время углубленно изучает русский язык, дабы усовершенствовать свое писательское мастерство. Публиковался в республиканских газетах.

ХАИДОВ Ибрагим родился в 1984 году в городе Грозном ЧИАССР. В 2005 году окончил Грозненский педагогический колледж (учитель начальных классов), в 2011-м — Чеченский институт бизнеса и управления (экономист), а в 2013-м — Чеченский государственный педагогический институт (история, юриспруденция). В 2017–2020 годах учился в магистратуре Российской академии народного хозяйства и государственной службы на факультете «Государственное муниципальное управление». В 2021 году защитил учченую степень кандидата исторических наук. Принимал участие в литературных конкурсах «Дебют» (2008), «Блистающий мир Александра Грина» (2014), лауреат Международного литературного Волошинского конкурса (2017). Публиковался в литературном журнале «НАНА» (Грозный).

ХОСЕ (псевдоним-антропоним) родился в 1999 году во Владикавказе. Детство провел в Йошкар-Оле, в 2016 году вернулся в Осетию. Окончил СКГМИ по специальности «Юриспруденция». Работает в сфере телевидения. Публиковался в журнале «Дарьял».



ДАРЬЯЛ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

* * *

WWW.DARIAL-ONLINE.RU

Журнал основан в 1991 году и поддерживает
традиции литературной периодики
в Северной Осетии.

Издается на русском языке и представляет
осетинский и в целом кавказский
литературный процесс
русскоязычному читателю.

«Дарьял» стремится соответствовать
своему времени и отвечать на его запросы.

Выходит шесть раз в год.

**ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
18668**



В оформлении обложки использована
картина Алана Есенова «Трамвай»

ЖУРНАЛ «ДАРЬЯЛ» — ЭТО:

- Литературно-художественное издание, представляющее культуру и искусство Осетии всему миру
- Поле для исторических и философских дискуссий
- Площадка для молодежных экспериментов и идей
- Дружелюбная творческая среда, объединяющая народы Кавказа



vk.com/darial.review | t.me/darialreview